

Май 1927 года

Цена 15 сентов

PROVUZHOENIE



Провушени

Орган свободной мысли

Номер 2

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО НОМЕРА

- | | |
|---|----------------|
| О свободном общественном устройстве России | М. И. СУК. |
| К вопросу о составлении программы анархистов-коммунистов | В. ХУДОЛЕЙ. |
| Неотступное. Втайне. (Стихотворения) | З. ГИППИУС. |
| Искусство. (Стихотворение) | ЧЕРНЫЙ. |
| Снег. (Сказка) | Е. ГРАДИНА. |
| Древний Египет в современной проблеме духовного возрождения | Л. Н. |
| Философия культуры. | А. СОЛОНОВИЧ. |
| Философия Ницше. | М. ИСТОЧНИКОВ. |
| Загадки жизни. | ПРОФ. ГРИВС. |
| Критика и библиография. | Е. МОРАВСКИЙ. |
| Разные заметки. | |



Рос 4-4
1-105 #2022

Пробуждение

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОРГАН СВОБОДНОЙ МЫСЛИ.

ИЗДАНИЕ РУССКИХ ПРОГРЕССИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И КАНАДЫ.

Адрес:

PROBUZHDENIE

9219 RUSSELL STREET

DETROIT, MICH.

№ 2

МАЙ, 1927.

М. И. СУК.

О СВОБОДНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ РОССИИ

Освобождение России от большевизма, возрождение и будущее общественное устройство ее — вот те основные проблемы, которые больше всего занимают умы представителей русской науки, политики и общественности за-границей.

Одно осуждение и проклятие большевизма, всех его адептов и неисчислимого вреда, причиненного России, ничего, разумеется, не разрешает, и не уничтожает существующего зла.

В данном случае, необходимо не столько констатирование болезни, которая для всех очевидна и остро ощущается всей Россией, сколько отыскание средств и путей, применяя каковые и следуя по которым можно было бы пресечь течение болезненного процесса, и вернуть страну к более нормальным и здоровым условиям жизни.

В некоторых крайних правых кругах русской эмиграции все еще возлагают надежды на то, что большевизм будет свер-

гнут с помощью иностранной интервенции. Интервенционисты, конечно, не учитывают ни полученных ими уроков в прошлом, ни установившихся отношений между большевиками с одной стороны и иностранными державами — с другой.

Прежде всего не следует забывать того, что, с точки зрения международных отношений, разбитая на части, ослабленная постоянной напряженной внутренней борьбой, большевистская Россия как раз является именно тем, что требуется большим европейским и и азиатским державам.

Слабая Россия, с плохой армией, способная на "геройские" подвиги лишь в пределах своего государства, утрачивает почти всякое значение в области международных отношений.

В силу бессилия, большевистская Россия вынуждена замкнуться в свои собственные пределы, и устранить себя от конкурирования с другими державами на арене международной политики.

Иностранная дипломатия, в особенности англичане, при всей своей ненависти и отрицательном отношении к большевизму, не могли не понять той простой истины, что "спасение" России от большевистской болезни не в интересах внешней политики Великобритании, а равно и других стран.

Этим и объясняется та поспешность, с которой англичане свою интервенческую политику сразу же сменили на дружественную, и протянули большевикам свою буржуазную руку.

Англия, конечно, ничего не потеряла от признания большевиков. Если бы большевики вели свою антинациональную разрушительную работу только в пределах одной России, и не делали попыток распространения ее на некоторые колониальные владения Англии, то между последней и Москвой не происходило бы никаких недоразумений. И если бы большевики сдержали свои обещания не мешать англичанам в их колониях своей пропагандой, то в конце концов благоволившие им английские лорды, несомненно, вознаградили бы их займами и кредитами. Только большевистское ребячество и невыдержанность расстроили налаживавшуюся было денежную сделку между красной Москвой и буржуазной Англией.

Однако и теперь, после весьма не лишнего обмена нот, после всех большевистских проделок в Китае, — английские лорды не спешат с разрывом дипломатических отношений с большевиками, ибо не в интересах иностранной внешней политики исчезновение большевизма в России. И большевизм, как хроническая, ослабляющая организм России, болезнь, особенно нужен Англии.

Можно даже предположить, что Англия, как держава, преобладающая теперь в мировой политике, позаботится о том, чтобы не допустить столкновений других европейских держав с Россией. Создаваемый Англией антисоветский фронт есть не что иное, как своеобразный кордон против заноса большевистских бацилл в другие

страны, но отнюдь не приготовления к войне.

Маловероятным кажется и то, чтобы сами большевики полезли в драку. У коммунистических вояк достаточно храбрости, чтобы вести неустанную войну в России с безоружным народом, но их вся спесь и мужество исчезают в тот момент, как только приходится столкнуться с реальной силой. В таких случаях большевики уклоняются от брошенного им вызова, хотя за это получают плевки в лицо и политические оплеухи.

Пути политики, однако, неисповедимы. Какаянибудь случайность, вроде перемен в правительстве, или какойнибудь вызывающий акт расстраивает иногда течение мировой политики, кажущееся теперь относительно благоприятным для советской власти.

Как в английском, так и в советском правительстве возможны перемены и появление у власти людей, для которых первый случайный конфликт может явиться удобным случаем для вооруженного столкновения.

Война, поэтому, как она ни кажется в настоящее время маловероятной в Европе и в частности с Россией, — не исключается, а вместе с ней допускается и возможность новой революции в России.

В России на войну возлагаются большие надежды. Всякие слухи о возможности объявления войны России встречаются населением, особенно крестьянством, — восторженно. "Дали бы нам только в руки винтовки, говорят крестьяне, и первым делом мы расправились бы с коммунистами. А затем, мы поступили бы так, как учили нас коммунисты: штык в землю и мир."

В данный момент, однако, было бы гадательным предполагать — каким образом произойдет освобождение России от большевизма. Есть, разумеется, и другие пути изживания большевизма, но большевикам, конечно, не избежать своей участи. Это они прекрасно чувствуют, и до

поры до времени ведут себя мирно: тише воды, ниже травы.

Но и такое хорошее поведение может иметь очень скверные последствия. Соседние державы, разумеется, истолкуют "мирность" советской политики по своему, как неспособность большевиков к самозащите, на них начнут напирать, станут их беспокоить все новыми требованиями и притязаниями...

И конфликт все-таки может произойти.

**

Гораздо важнее и сложнее, чем ликвидация большевизма, пожалуй, вопрос будущего, после большевицкого, общественного устройства.

У политиков, конечно, всегда имеются свои заранее приготовленные рецепты и средства, не отличающиеся, впрочем, ни оригинальностью, ни разнообразием.

Все врачеватели исходят из одного общего понятия о том, что спасенный и освобожденный ими от ужасной большевицкой тирании русский народ надлежит отдать в управление и опеку новой государственной власти — благотельной и добродетельной, которая утрит слезы плачущим, позаботится о неимущих, просветит невежественных, накажет обидчиков, словом, установит на Руси правду и порядок.

Так твердят всем и монархисты, и демократы, и республиканцы. Все они наперебой рвутся к власти, все они хотят одного — занять все те государственные должности, на которых теперь восседают большевики, а потом, конечно, они уже подумают и позаботятся о народе.

Разрешение положительной стороны будущего устройства России начинается обычно спором о преимуществах одной формы политического правления над другой. Монархисты порицают республиканцев, а последние — монархистов. Некоторые государственники, не ослепленные партийностью, более здраво смотрящие на вещи, скроенно, однако, заявляют, что суть дела заключается не в форме, — монархии или республике, — а в ее содер-

жании: бывают, мол, хорошие монархии и отвратительнейшие республики и наоборот. Достоинства республики или монархии, поэтому, зависят не от одного названия, а от нравственных качеств и способностей людей, стоящих в данный момент у власти.

Эти люди могут оказаться посредственностями, не стоящими на высоте своего призвания, и тогда государственное управление будет посредственным и плохим. И удачный подбор правящей группы даст стране удовлетворительное правительство.

С точки зрения государственников, от удачного подбора правящей группы зависит качество правительства. И поэтому, центр тяжести должен быть сосредоточен на создании в стране политических условий, обеспечивающих наилучший подбор правителей-чиновников — посредством ли выборов, или назначения их наследственной властью. Эти рассуждения сторонников государственной власти, на наш взгляд, неубедительны и содержат в себе неразрешимые противоречия. Управлять кем бы то ни было можно, во-первых, тогда, когда человек сам этого желает потому, что он не знает, как ему поступать в тех или иных случаях и ориентироваться в окружающей его обстановке.

Во-вторых, этот подвластный человек должен быть убежден в превосходстве своих правителей над собою в умственном, нравственном и других отношениях. Только при наличии этих условий можно оправдать существование той или иной власти. Ребенок или душевно-больной человек, конечно, нуждаются в руководстве и присмотре людей взрослых и нормальных.

Но это ведь исключение. Общество надлежит мыслить, как собрание людей здравомыслящих, самостоятельных, с известным исторически сложившимся нравственным обликом, привычками, обычаями, интеллектуальным развитием и культурностью.

В Соединенных Штатах, например, все граждане получают почти одинаковое образование, которое, вплоть до высшего,

сравнительно общедоступно. Умственный уровень и носителя власти и управляемого почти одинаков, и управляемые очевидно не нуждаются в отеческих попечениях людей, именуемых властью.

Хуже всего то, что как в монархиях, так и в демократиях носителями власти являются как раз люди самые заурядные, в большинстве случаев с весьма скверными наклонностями. В чиновники больше всего попадают по протекции, или же ставленники политических партий. Все это люди сомнительной честности и нравственности, заботящиеся не о государственном преуспеянии, а о своем личном благе.

В каждом правительстве могут быть, конечно, люди гуманные и порядочные, но они являются исключениями, и, как общее правило, все их благонамеренные планы не выходят из области добрых пожеланий; в действительности же правит и господствует чиновничья камарилья, как саранча пожирающая все, что только она сможет.

Вообще, что то очень редко приходится слышать о жертвенности и бескорыстии власть имущих. Скандальные же истории со взяточничеством и лихоимством, в которых фигурируют даже высшие представители власти, становятся самым обыденным явлением нашего времени.

Может быть, никогда раньше, на протяжении всей истории человечества, государственная власть не доходила до такой степени падения, как теперь. Общеизвестен факт, что и в монархиях и в демократиях государственные должности стали предметом продажи и купли. Известно, например, что в назначении министров в царствование Николая II последнее решающее слово принадлежало пресловутому старцу Распутину. А в демократиях — на должности сенаторов, конгрессменов, губернаторов и т. д. попадают лица, уплатившие той или иной партии определенную дань за свою должность.

Государственная власть, являющаяся не чем иным, как насилием над всем обществом, в период своего долгого историческо-

го существования не эволюционировала, не изменила своей антисоциальной природы, не могла побороть в себе злых начал и стать положительным фактором в развитии общественной жизни.

И глубоко заблуждаются те люди, которые хотят видеть в государстве и носителях власти какие то положительные начала. Если бы это было так, и власть в самом деле всем казалась бы чем то необходимым и благотворительным, то правительствам не приходилось бы содержать целых армий жандармов, сыщиков, полицейских и солдат для охраны прежде всего самих себя от революций и народных возмущений против власти.

**

Несмотря на все эти отрицательные стороны государства, защитники власти все еще не переводятся. Профессор Н. А. Алексеев в недавно выпущенной им в свет книге "На путях к будущей России" пытается разрешить проблему власти довольно таки спорным образом. Начинает он с признания несовершенств и релятивности и республиканской и монархической формы правления.

На его взгляд, все эти формы не то, что надо для жизни России на началах правды и порядка. Упомянутые формы общественного устройства, на его взгляд, не отвечают идеальным требованиям, которые в общем у него сводятся к обеспечению прав на духовное развитие и средний достаток в жизни. Он в одинаковой мере восстает против нищеты и чрезмерного богатства — "свинарни."

Отвергнув монархическую и республиканскую форму правления, как не разрешающие поставленного вопроса, проф. Алексеев не мог, однако, отрешиться от государственных традиций и запутался в советизме.

То, что не по силам разрешить монархии или республике, проф. Алексеев полагает может найти разрешение в советском строе. Строй этот он мыслит без коммунистов, и думает, что, устранив этих дьяволов, советская форма правления превра-

тится в сносную. Советское государство без коммунистов он называет "праведным государством." В это государство им вносятся некоторые поправки. Одной из них весьма существенной, является — уравнивание прав города и деревни в смысле участия в выборах в советы.

По теперешней советской конституции, полной прав пользуются только города, т. е. пролетариат; участие же деревни в управлении страной ограничено и носит лишь косвенный характер. Система советских выборов построена таким образом, чтобы город управлял деревней.

Это преобладание в советском правительстве городского элемента сейчас же обнаруживается, как только крестьянин оказывается за пределами своей волости. На окружной (уездный) съезд советов сельские советы посылают своих представителей по расчету 1 депутат на 5000 жителей, тогда как город туда посылает 1 депутата на 1000 избирателей. Иными словами говоря, каждый пролетарий в сов. России ценится и пользуется политической властью в 5 раз большей, чем крестьянин.

Но это политическое неравенство прав крестьянина и пролетария по мере приближения к центру власти еще больше увеличивается. Города, например, пользуются правом непосредственной посылки своих представителей на губернский съезд советов по расчету 1 депутат на 5000 избирателей. Сельские же советы лишены этого права, и избирают туда своих представителей на уездных съездах советов по расчету 1 депутат на 25.000 жителей.

Город непосредственно посылает депутатов на всесоюзные и республиканские съезды по расчету 1 депутат на 25.000 избирателей. Деревня же выбирает своих представителей не непосредственно, а на губернских и уездных съездах советов по расчету 1 депутата на 125.000 избирателей.

Эти недостатки советской избирательной системы проф. Алексеев считает нужным исправить, уравнивая в правах город и деревню, что, разумеется, приведет к пре-

обладанию в правительстве крестьян над горожанами.

Таковы в общем главные очертания "праведного государства" проф. Алексеева. Ему наравится в большевистских советах идея сильной власти, фактически приводящая к единоначалию. По мнению проф. Алексеева, Ленин был первый советский царь. Сталин тоже является единодержавным правителем России.

И это, так сказать, незаконное единодержавие надо будет, по мнению проф. Алексеева, легализовать в "праведном государстве." Таким образом, по концепции проф. Алексеева, советское праведное государство должно быть преимущественно крестьянским, и, возможно, возглавляемым президентом или монархом.

В праведности подобного государства нельзя, разумеется, не усомниться. Одного, хотя бы хорошего слова, конечно, недостаточно для того, чтобы создать "праведное государство." Можно его назвать как угодно. Инквизиция нисколько не была лучше от того, что носила название святой; Чека и другие подобные институты власти и в праведном государстве очевидно будут заняты тем же неправедным делом, как и при большевиках.

Не будет в этих почтенных учреждениях коммунистов, но на их местах воссядут, разумеется, их "достойные" заместители. Вся несостоятельность рецептов проф. Алексеева именно заключается в том, что он, вообще скептически относящийся к республиканской и монархической форме правления, неожиданно наделяет советскую систему (без коммунистов) качествами праведного государства, хотя по существу дела его нео-советская форма является такой же многогрешной, как и большевистский советизм; во всяком случае, нет оснований верить в возможность создания праведного человека посредством неправедного государства.

Проф. Алексеев решительно осуждает марксистские концепции общественного переустройства. О большевистском строе он не без ядовитости пишет:

“Вот уже скоро десять лет, как Россия ищет коммунистического рая, а на деле получает все более упрочивающийся быт, в котором имеются свои “угнетатели” и свои “угнетенные”, своя новая буржуазия и старый пролетариат, свои — отчасти новые, отчасти старые — классы, своя бюрократия. С каждым годом все более и более удаляется возможность приближения конечного рая, и ожидаемое “царство свободы” с каждым годом превращается в реальнейшее царство новой “необходимости”. Вот уже скоро десять лет совершается не знающая себе примеров в истории реорганизация общественных отношений, а что же, человек стал лучше? Уменьшилось зло в его душе, уменьшились преступления, запустели тюрьмы, заржавели ножи эшафотов? Прекратился разврат, иссякла ненависть и зависть, потухла вражда? Нет более любви к деньгам, к приобретению, к собственности? Любовь и братство осеняют Россию, волк пасется рядом с ягненок, пушки перелиты на плуги и не слышно более бряцающего меча? Вот уже скоро десять лет, как протекает тот переходный период диктатуры, который должен смениться установлением нового бесгосударственного состояния будущего коммунистического строя! А что-же, государство все иссякает? Напротив, мы видим, что диктатура эта приняла формы постоянные, выработался особый государственный быт, сложилось “советское государство.” Государство не сдано в архив, по завету Энгельса, но только изменило свое лицо и приобрело новые формы. Практически теперь уже в России никто и не мечтает об “упразднении государства”, — мечтают разве только о том, чтобы уменьшить весьма ощутительный гнет, который истекает из коммунистической власти...”

От этой филиппики против большевистского государства проф. Алексеев приходит к совершенно верному заключению, что “неудачи “русской правды” в ее новом понимании проистекают из ошибочности принципов, а не из затруднений при их применении. Ныне, продолжает он дальше, более чем когда либо, надлежит утверждать

ту истину, что конечной двигательной силой общественной жизни является душа человека. Нет сомнения, что на душу эту накладывают неизгладимую печать внешние условия, экономические и социальные, но никакие условия не могут сделать душу хорошей или дурной, если она этого не хочет.” Можно изобрести совершеннейшие социальные учреждения, однако, они бессильны преобразовать человека, если только он сам не поставит перед собой целей самопреобразования. Самая справедливая организация фабричного предприятия погибнет, если исполнителями будут люди, не знающие, что такое честность. Самая совершенная политическая форма превратится в общественную клоаку, когда граждане не будут сплошными ворами, казнокрадами и насильниками. Мы думаем, что в опытной истинности этих мыслей убедился теперь каждый советский гражданин, работавший в десятках разных чудеснейших по своим задачам товариществах, кооперативах и других учреждениях. Иными словами, от новой русской интеллигентской правды нужно перейти к правде старой московской. Нужно понять то, что недопустимо было пониманию русской “передовой” интеллигенции: нужно понять, что хорошим человека делает личная работа над собой, подвиг самоусовершенствования. А если люди станут хорошими, то тем самым и социальная жизнь улучшится. При этом нужно, конечно, считаться с пользой социальных учреждений. Без учреждений человек не может жить совместной жизнью, — и раз он сам улучшится, он тотчас же должен строить и новые, более совершенные учреждения“....

И дальше проф. Алексеев говорит:

“Возвратившись к признанию старой московской “правды”, русский человек тем самым не может не освободиться от лжи того нравственного учения, которое ему было привито марксизмом. Хорошим человека делает не “зачисление” в класс, а внутренняя работа над собой, следствиями которой будет любовь человека к другим людям, желание им добра и правды. Все знают теперь, что голая принадлеж-

ность к "пролетариату" или к "коммунистам" сама по себе равно ничего не говорит. В причисливших себя к "прогрессивному классу" оказалось не менее недобродяев, чем их было в старой, истребленной "буржуазии." 'Хорошим' человек бывает не потому, что он "пролетарий", а потому, что по душе добр."

Во всех этих прекрасных мыслях, разумеется, есть много верного. Проф. Алексеев, однако, ошибочно думает, что порядочные и честные люди могут создать хороший государственный строй и наоборот — всякая форма общественного устройства может быть невыносимой, если в ней преобладают бесчестные люди. Это верно лишь в относительном смысле. В вопросе государственного устройства, как на это указывает и проф. Алексеев, главная суть в принципах, положенных в основу государственного строя. Развивая высказанную проф. Алексеевым мысль об "ошибочности принципов", почему не усомниться и в принципе государственности вообще?

По проф. Алексееву, все государственные формы правления относительно хороши и даже советская, а плоха в ней только правящая группа коммунистов. И если заменить коммунистов другими людьми, то все очевидно пойдет к лучшему. Спорным в этом утверждении является, конечно то, — окажется ли на высоте своих задач и новая правящая группа?

Русская монархическая бюрократия, как известно, не отличалась ни особенной жертвенностью, ни кристальной честностью, и служила постоянным объектом нападков со стороны республиканских групп. Ни Временное Правительство, ни Советы, однако, не изменили сущности правящей группы: она остается все той же бюрократией двадцатого числа, ленивой, неподвижной, без инициативы, признающей только трафареты, враждебной ко всяким общественным начинаниям, могущим подорвать или умалить ее значение.

Большевики объявляли себя самыми непримиримыми врагами бюрократии, но, очутившись в чиновничьих мундирах, са-

мые идейные коммунисты превратились в заправских бюрократов. И можно с полным основанием сказать, что и в "праведном государстве" произойдет все та-же старая история, бесконечно повторяемая и в монархиях, и в буржуазных и социалистических республиках, а именно: праведников в том смысле, как их понимает проф. Алексеев, может и не оказаться, или окажутся они в ничтожном меньшинстве, правящая же группа составит из различных плутов и авантюристов.

И из "праведного государства", таким образом, получится неправедное...

**

Как же может быть разрешена проблема общественного устройства России?

Можно, разумеется, продолжать искания "праведного государства", блуждать в лабиринте всевозможных политических систем и форм правления, видоизменять их, и уверять себя и других, что мы прогрессируем, идем к лучшему. Но в действительности это будет самообман и топтание на месте.

Проблема более совершенного общественного устройства может быть разрешена не посредством реформирования государства, а более радикальным путем, только тогда, когда мы раз навсегда покончим с исканиями и созданиями "хороших" правительств, ибо их никогда не было и не будет.

Надо прежде всего раскрепостить общество от государственной зависимости. Сколько бы ни приводилось аргументов в защиту положительных сторон государственной власти, все они кажутся ничтожными в сравнении с тем злом, которое порождает государственная власть. Деятельность ее в очень немногих случаях направлена на добрые и полезные для всего общества дела.

В созидательной, творческой работе участие государственной власти очень скромно, особенно если принять во внимание, что защитники власти весьма часто приписывают государству заслуги, принадлежащие не ему, а частной инициативе.

Мы знаем, например, что успешные предприятия, как то: железные дороги, крупные торгово - промышленные предприятия, лучшие университеты (в Америке) и т. п., — созданы не государством, а отдельными выдающимися людьми, или группами частных лиц.

Государство же очень мало интересуется такими положительными достижениями, а если и берется за проведение какого нибудь хозяйственного дела, то оно обходится стране в несколько раз дороже, чем при частной инициативе, и в большинстве случаев заканчивается историями скандального характера.

Государство в действительности обладает паразитическими и полицейскими функциями. Оно пожирает колоссальные суммы на свое содержание, а главная его работа заключается в обуздании общества. Государственное угнетение чувствуется не только одними, так называемыми, преступниками и нарушителями законов, но и всем обществом в целом. Никто и ни в каком государстве не застрахован от произвольных арестов, преследований и прочих издевательств власти.

В некоторых странах, как, например, в России, государственная тирания больших не знает предела, и фактически превратила страну в одну огромную тюрьму. И когда государственники говорят о замене одной власти другой, то это напоминает не более, как процедуру смены старых тюремщиков новыми. Решетки-то государственные остаются, а, следовательно, люди будут попрежнему на положении заключенных.

На наш взгляд совершенно бессмысленными кажутся всякие попытки создать праведную власть, т. е. найти хороших тюремщиков. Тюремщики, в какие цвета они ни рядились бы, будут оставаться тюремщиками.

Праведная власть, ангельская власть, которая не делала бы людям зла, т. е. не преследовала бы их за убеждения, не вмешивалась бы в их личную и общественную жизнь, не тащила бы их в солдаты, не

грабила бы их принудительными налогами, не бросала бы их в тюрьмы и не беспокоила бы своими различными притязаниями — не только является утопичной, иллюзорной мечтой увлекающихся государственников, но стала бы в государстве совершенно излишней, как змея, утратившая свое жало.

Поэтому, решительное отвержение всякой государственной власти — монархической, республиканской или советской — является одним из первых условий разрешения социальной проблемы как в России, так и в других странах, не в интересах одной какой либо господствующей политической или экономической группы, а всей страны в целом.

В первую очередь перед всеми ищущими правды, должен встать вопрос об освобождении людей от всякой государственной власти и экономического порабощения. Правительственная власть, как вредное и устарелое установление, не отвечающее теперешнему умственному и культурному развитию человечества, — должно исчезнуть и отойти в область предания.

В соответствии с изложенными соображениями, вырисовываются и контуры будущего общественного устройства России. Оно представляется нам свободным от всяких правительств, слагающимся из добровольных объединений людей, на договорных началах, в форме самоуправляющихся вольных деревень и городов, ассоциаций, общин и коммун, объединяющихся в федерации и конфедерации для обслуживания различных нужд, запросов и потребностей безвластного общества, в котором человек не властвует сам над другими и другим не позволяет властвовать над собой, не эксплуатирует других и этим последним не позволяет эксплуатировать себя.

Мы наметили, таким образом, очертания более справедливого и совершенного общества. Возможности осуществления его в наше время и других сторон, в связи с его конструкцией, нам придется коснуться когда-нибудь в другое время.

М. И. СУК.

В. ХУДОЛЕЙ.

К ВОПРОСУ О СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ АНАРХИСТОВ-КОММУНИСТОВ

(Дискуссионная)

Первым шагом к составлению программы анархистов - коммунистов является установление основных положений ее. Так как в анархических рядах, благодаря отсутствию краткой программы, царит значительный разброд, то установление основных положений потребует обсуждения их в печати и на собраниях.

Самой старой (по времени) программой анархической партии была составленная Бакуниным "Программа Альянса". Затем, программа анархистов-коммунистов была изложена Кропоткиным в книжке "Хлеб и Воля". Более поздней является программа, написанная Малатестой и принятая Италийским Союзом Анархистов. Есть еще и другие программы и декларации, написанные анархистами. Теперь, после опыта Русской Революции, необходимо приступить к коллективной переработке такой программы, которая была бы построена на основе опыта революций последнего десятилетия, изменения форм общественного движения в последние десятилетия, современных исканий анархической мысли и, в частности, писаний покойного Кропоткина.

Мне такая программа представляется в виде перечня положений, сгруппированных по основным разделам, определяющим: 1) цель партии анархистов-коммунистов, 2) отношение к кооперации, 3) отношение к профессиональному движению, 4) отношение к аграрному движению, 5) отношение к государству и его органам, 6) подготовка революции.

Нет сомнения, что такие группы вопросов должны быть освещены в программе, несущественно в каком порядке их расположить, но важно конкретное содержание каждого раздела. Об этом придется, вероятно, спорить.

Я имею в виду предложить для обсуждения на страницах "Пробуждения" следующие положения:

2. Имея в виду, что организация производства должна быть делом потребителей. П. А.-К. стремится к захвату всех орудий и средств производства потребительской кооперацией.

3. В целях уничтожения профессионального деления людей и проведения принципа интеграции труда при разделении его во времени, П. А.-К. считает, что потребительские кооперативы, после захвата орудий и средств производства, должны организовывать секции по отраслям хозяйства с тем, чтобы каждый член кооператива мог прилагать свой труд в различных отраслях.

4. В городах П. А.-К. организует союзы квартироуниверситетов и стремится к захвату ими жилищ.

В отношении целей партии а.-к.:

1. Партия Анархистов - Коммунистов защищает интересы угнетенных и обездоленных классов капиталистического общества: низших и средних слоев рабочих промышленности, транспорта и земледелия, трудовых крестьян и трудовых фермеров, а также интеллигентской бедноты.

2. П. А.-К. стремится к полному уничтожению власти человека над человеком и эксплуатации человека человеком: уничтожение государства, отмена права частной собственности и переход всех орудий и средств производства в общее достояние всего человечества с предоставлением их в пользование добровольным союзам людей.

3. П. А.-К. отрицает необходимость переходного строя от буржуазного общества к анархическому коммунизму, считая, что строительство нового общества должно идти одновременно с разрушением старого.

В отношении кооперации:

1. В кооперативной организации находят свое применение основные начала анархизма: добровольность организации, право выхода меньшинства, выборность и подотчетность исполнительных органов.

5. Союзы квартиронанимателей должны, после революции, превратиться в поселковые кооперативы, проводящие замену старого типа человеческого поселения кооперативными городами - садами.

6. Все функции современных городских самоуправлений, а также пути и средства сообщения, должны перейти к кооперативным поселкам и вестись ими на началах интеграции труда.

7. Для достижения целей, превосходящих силы отдельных кооперативов, последние объединяются в специальные союзы.

В отношении профессионального движения:

1. Профессиональные союзы должны быть школой революционного воспитания рабочих масс, приучая их к непосредственной борьбе за постоянное сокращение рабочего дня, повышение заработной платы и т. д.

2. Профессиональные союзы должны всеми мерами содействовать развитию потребительской кооперации.

3. Вся культурно - просветительная работа должна быть сосредоточена при потребительской кооперации, причем последняя, в целях повышения квалификации своих членов и предоставления им возможности перехода от одной профессии к другой, должна стремиться к открытию профессиональных - технических школ.

4. После перехода орудий и средств производства в руки потребительской кооперации, профессиональные союзы должны превратиться в профессионально - технические школы при ней.

5. Профессиональные союзы должны войти в Международное Товарищество Рабочих (4-ый Интернационал) при неременном условии изменения его устава в смысле отказа от борьбы за синдикальное государство.

В отношении аграрного движения:

1. Крестьянские союзы должны быть средством революционного воспитания трудового крестьянства и трудового фермерства.

2. Крестьянские союзы должны стремиться к захвату частновладельческих земель,

к уменьшению арендной платы, к отказу от платежа прямых налогов.

3. Крестьянские союзы должны всеми мерами содействовать развитию кооперации, в особенности — потребительской.

4. Крестьянские союзы должны входить в Крестьянский Интернационал.

Об отношении к государству и его органам:

1. П. А.-К. бойкотирует выборы в парламент и в городские самоуправления.

2. П. А.-К. проводит бойкот организаций, объединяющих рабочих и капиталистов, крестьян (фермеров) и землевладельцев, эксплуатирующих наемный труд.

3. П. А.-К. признает равноправие и право самоопределения за всеми народами и племенами и поддерживает борьбу колониальных народов против империализма, борьбу цветных рас за равноправие, борьбу эмигрантских колоний за право самоопределения.

4. П. А.-К. борется против войн между народами, стремясь превратить каждую такую войну, в гражданскую войну против власти и капитала.

В отношении подготовки революции:

1. П. А.-К., имея в виду разложение правительственной армии, организует союзы солдат и матросов и ведет антимилиитаристскую пропаганду.

2. В целях военной подготовки своих членов, П. А.-К. считает необходимым развитие военного спорта, а также вступление в армию при мобилизациях, считая особенно важным изучение артиллерии, химической войны и авиации.

3. В моменты подготовки выступлений П. А.-К. считает необходимым создание Комитетов Действия, общих с другими революционными партиями.

Таковы, по моему мнению, должны быть принципы, положенные в основу программы анархистов коммунистов. Прежде всего важно договориться об основах, все частные вопросы разрешаются сами собой, а теоретическое обоснование может быть составлено впоследствии.

Нам недостаточно теперь туманных рас-
суждений о свободе, равенстве и братстве,
а нужна практическая программа повседне-
вной деятельности. Нам нужна такая прог-
рамма, которая давала бы нам возможность
на наших ежегодных съездах оценивать на-
ши достижения, выяснять наши недостатки

и намечать пути дальнейшей нашей работы.

Только отвечающая этим требованиям
программа может закрепить за движением
хотя бы однажды пришедшие к нему массы,
придать ему мощь и устойчивость, веду-
щие к победе.

В. ХУДОЛЕЙ.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

3. ГИППИУС.

ВТАЙНЕ

Сегодня имя твоё я скрою
И вслух — другим — не назову.
Но ты услышишь, что я с тобою,
Опять тобой — одной — живу.

На влажном небе Звезда огромней,
Дрожат — струясь — её края.
И в ночь смотрю я, и сердце помнит,
Что эта Ночь — твоё, твоё!

Дай вновь увидеть родные очи,
Взглянуть в их глубь, — и ширь, — и синь
Земное сердце великой Ночью
В его тоске — о, не покинь!

И все жаднее, все неуклонней
Оно зовет — одну — тебя.
Возьми-же сердце мое в ладони,
Согрей — утишь — утешь, любя . . .

НЕОТСТУПНОЕ

Я от дверей не отойду.
Пусть длится ночь, пусть злится ветер.
Стучу, пока не упаду.
Стучу, пока Ты не ответишь.
Не отступлю, не отступлю.
Стучу, зову Тебя без страха:
Отдай мне ту, кого люблю!
Восстанови её из праха —
Верни её под отчий кров,
Пускай виновна — отпусти ей!
Твой очистительный покров

Простри — над грешною Россией!
И мне, упрямому рабу,
Увидеть дай её, живую...

Открой! Пока она в гробу —
От этой двери не уйду я.
Неугасим огонь души,
Стучу, дрожат дверные петли,
Зову Тебя — о поспеши!
Кричу к Тебе — о не замедли!
3. ГИППИУС.

А. ЧЕРНЫЙ.

ИСКУССТВО

Бог, злой Отец, нас соблазнил Эдемом
И предал псам и выгнал скорбных в тьму,
И только Музы ласковым гаремом,
Как отзвук рая, сходят к нам в тюрьму.

Глаза их манят радостью могучей,
Безсмертный свет дрожит на их челе...
Вставай, мой ближний, бьющийся в паду-

чей,

Есть мир иной на этой злой земле!

Нет Бога? Что-ж ... Нас обогреют Музы,
Нет правды? — Пусть ... Сны жажду уто-
лят:

Распятый дух срывает гневно узы
И все безумней рвется в Светлый Сад.

Из века в век звенит мечта живая,
Всех палачей она переживет —

Она одна, всех праведных венчая,
Нетленной скорбью плещет в эшафот.

Без слов Христа, поэта из поэтов,
Без слез Бетховена, без Фидиевских грез
Одни холмы бесчисленных скелетов
Сковал бы смертью мировой мороз.

Вставай, мой брат .. И робкий и печальный
К твоим ногам склоняюсь я во тьме:

Есть мир иной, загадочный и дальний, —
Любовь поет и в склепе и в тюрьме.

Цветут цветы. Томясь, шумят деревья:
Пока у нас не выкололи глаз,
Мы, забывая горькие кочевья,
В ладье мечты утешимся не раз. . . .

Е. ГРАДИНА.

СНЕГ

(С К А З К А)

Зима была в полном разгаре... Мороз щедро осыпал инеем и дома, и телеграфную проволоку, и деревья на бульварах, набросав на их черную наготу прекрасное белоснежное кружево, которое искрилось переливая всеми цветами радуги. Казалось, что Зима хотела всем сказать: "посмотри-те, какая я чарующая! Меня иногда упрекают за односторонность и вечно сравнивают с этой легкомысленнейшей из всех времен года Весной! Но разве сможет ктонибудь, кроме меня, дать такие дивные блестящие узоры из инея. Весна царствует только на полях. Разве она приносит чтонибудь хорошее городу. Конечно нет! А я с таким же усердием расписываю узорами окна на городских домах, как и складываю мои глубокие сугробы на полях и в лесах. Даже бульварные скамейки и те я покрываю ковром из инея. А посмотрите только внимательно, как он сверкает при свете фонарей. Ведь, поистине, ни у одного из владельцев мира нет такого прекрасного трона, как эта простая, немножко сломанная скамья,

на которой сейчас сидит сжегившись бедный мальчик!"

С Зимой нельзя было не согласиться: действительно, при помощи своего волшебного Мороза, она украсила все кругом с таким искусством, что многим казалось, что это воплотились прекрасные грезы, которые навевались в далеком детстве волшебными сказками.

Мороз крепчал... Мальчик старался выбрать поудобнее позу и растянуть свое ветхое пальто так, чтобы одновременно можно было прикрыть им и ноги, поджатые к самому подбородку, и поглубже втянуть в него голову. Плохо это ему удавалось: мороз все больше и больше пощипывал его со всех сторон... Наконец, какое то забытое пришло на смену мучительной дрожи и мальчик почувствовал, что ему совсем тепло, и что скамейка под ним мерно заколыхалась, как бы убаюкивая его... Блестящие снежинки кружились вокруг и мальчику казалось, что он слышит какую то невыразимо нежную музыку, которая напоми-

нала ему что то очень, очень знакомое, ах, да, голос его умершей мамы. "Наверное она где нибудь здесь, совсем близко. Положу, подумал мальчик, может быть я и увижу ее." Вдруг, он стал различать между бесконечно сыпавшихся снежинок какие то маленькие существа с большими кувшинами. Мальчик с удивлением увидел, что снег, который ему всегда казалось, сыпался с неба, был в кувшинах у этих удивительных существ, и что они играя, горстями бросали снег из кувшинов и осыпали им друг друга.

Так вот почему идет снег,—подумал мальчик, — занятно, посмотрю, что будет дальше, это, конечно, снежные феи."

Через несколько мгновений снежные феи образовали хоровод и стали с звонким смехом кружиться вокруг мальчика, осыпая его снегом. Одна из них выступила из круга и сказала: "Послушай, ты, верно, не имеешь дома, иначе ты не сидел бы здесь на скамье, ведь очень немногие из царства людей любят играть с нами. Но ты мне нравишься, если хочешь, то я тебе могу дать такой же кувшин, который есть у каждой из нас. Дело в том, что одна сестра наша недавно погибла, она неосторожно попала в костер, но кувшин она успела бросить мне. Думай и давай скорей ответ: имел кувшин, ты можешь отправиться путешествовать с нами." Мальчику так понравилась мысль потанцевать вместе с снежниками, что он немедленно прыгнул, поймал налету кувшин с блестящим снегом и пустился в дотопку за феями, стараясь как можно больше насыпать на них снега, но кувшин, несмотря на это, оставался все таким же полным.

Такое веселье захватило измученную, за последнее время, душу мальчика, точно он снова очутился возле своей мамы и она ему устраивает рождественскую елку.

Сколько времени кружился он в вихре танца он хорошенько не помнил, только, вдруг, он почувствовал, что быстро стал отделяться от земли и что фонари, деревья, крыши домов очутились внизу, а он все выше и выше поднимался, окруженный

снежными феями. "Куда мы летим? Мне страшно! Я боюсь разбиться!" — крикнул мальчик. "Прежде всего не бойся, ответила фея, раз у тебя кувшин в руках, ты не можешь упасть и разбиться, а летим мы на бал к ледяной королеве, это очень, очень далеко отсюда: она живет в стране ночи. Брось свои страхи и наблюдай лучше все, что увидишь во время нашего перелета."

Мальчик освоился с быстротой полета и стал присматриваться к тому, над чем они мчались. Вот мелькнул под ними город с высокими зданиями, с блестящими куполами и крестами церквей. А потом опять потянулись огромные снежные пространства, прерываемые лесами, убранными в пышный зимний наряд. Солнце блеснуло им своими первыми лучами и родило длинные, синие тени, которые побежали от одиноких деревьев, изредка встречавшихся им теперь среди огромных равнин. "Страшно, — подумал мальчик, здесь солнце совсем не то, что у нас, оно не хочет подниматься и грустный день скорее похож на сумерки, в которые моя мама так любила мне рассказывать сказки, полные самых неожиданных превращений."

Долго летели снежные феи, а с ними и мальчик. Наконец, одна из них крикнула радостным голосом: "Смотрите скорей, отсюда уже виден дворец нашей королевы, как он прекрасно убран." Еще быстрее помчались они, чтобы не опоздать на бал. "Сестры, мы сегодня должны одеть наши лучшие туалеты, я думаю те, что мы недавно соткали из лунных лучей." Все согласились и мгновенно перед мальчиком его спутницы засветились серебристо голубоватыми блестящими платьями и ему казалось, точно, действительно луна взопла на небе.

"А что нам делать с нашим найленишем, его, пожалуй, не пустят в таком виде во дворец. Придется его где нибудь оставить!" "Но мальчику стало грустно от сознания, что его оставят одного и ему так хотелось проникнуть во дворец на бал к королеве, что он горько заплакал. Одна фея бросилась с испугом утешать его, прося, чтобы он не ронял таких горячих слез, так

как она боится, что ее сестры могут получить ожоги. "Вот, что — сказала одна фея — у меня есть возможность проникнуть в гардеробную дворца и достать там костюм паж, пожалуй, он подойдет нашему спутнику." Все согласилось с таким предложением и через некоторое время переодетый мальчик помчался с феями во дворец.

Роскошь праздника была ошеломляющая. Прозрачные стены из зеленоватого льда освещались тысячами звезд, которые, казалось, по случаю праздника, спустились с далеких небес и, мерцая, висели над головами.

Но прекрасней всего была сама королева.

Все сказочные принцессы, о которых он читал и которых видел на картинках, поблекли перед образом королевы. На голове у нее была корона из огромных и драгоценных разноцветных камней, которые испускали такие длинные лучи, которые высоко, высоко уходили в глубь неба. Когда же королева закружилась под дивные звуки в каком то невиданном танце, то все небо загорелось, переливаясь радужными красками, словно непрерывный гигантский фейерверк.

"А в царстве людей, — шепнула фея на ухо мальчику, — этот танец королевы называют полярным сиянием, ведь никто из людей, кроме тебя, никогда не был в этом дворце. Смотри, к тебе идет сама королева."

И действительно, ледяная королева, вся сияя, подошла к мальчику.

"Мой юный паж, я хочу тебе отдать мой последний танец, сказала она. — идем. Какое то шептавшее чувство охватило все су-

щество мальчика: ему было и хорошо и невыразимо грустно.

Когда он кружился с королевой, звезды так сильно трепетали, а феи словно безумные мчались мимо в таком галопе, что какой то смутный страх заставил сердце мальчика тревожно забиться. Он остановился, чтобы перевести дыхание. "Ты так хорошо танцуешь, мой неожиданный гость, что я хочу исполнить любое твое желание", сказала королева, обнимая мальчика. — "Хочу больше всего к маме" — тихо прошептал он. "Хорошо, ответила королева — я сама тебя отнесу к ней."

С этими словами она взяла мальчика и, поднявшись с ним высоко навстречу лунному сиянию, передала его на руки, давно ожидавшей их, женщине. "Как я счастлива, мой дорогой мальчик, что я дождалась тебя, дай я согрею тебя моими поцелуями," — промолвила женщина с невыразимой нежностью.

Мальчик перестал сознавать окружающее, он только чувствовал необыкновенный покой и тихая ласка матери мгновенно залечила все раны его молодой, но уже много страдавшей души.

А метель, срывая прекрасный зимний убор с деревьев с воем кружилась над замерзшим мальчиком. К утру началась оттепель. Деревья в глубоком трауре роняли слезы над маленьким трупиком ребенка, для которого зима, так щедро роняющая свои роскошные убранства, спила саван, а вьюга пропела погребальную песню.

Е. ГРАДИНА.

Москва.

Л. Н.

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Я меньше всего предполагаю, что эта попытка войти в область египетского искусства будет научной или хотя-бы научнообразной. Я хотел-бы поделиться своими впечатлениями о египетском искусстве, которые на мой взгляд могут быть соотнесены к проблеме современного творчества, т. е. каким-

то образом устанавливают ту культурную преемственность, которая для сегодняшнего дня возможна по отношению к культурам древним. Мне кажется, что, если мне удастся показать конкретность этих взаимодействий, то это будет отчасти приближением к разрешению той проблемы, которая стоит

перед нами сейчас, проблемы духовного ренессанса, духовного возрождения, на основе использования культурных ценностей далеко от нас отстоящих древних культур.

И вот первое, что поражает меня в египетском искусстве, это бесконечное богатство, это громадность того диапазона, в котором это искусство вывисло, при всей скупости и скудности, казалось бы на первый взгляд, средств художественного выражения. Если бы мы ограничили анализ этого вопроса только областью египетской архитектуры, то и здесь, мне кажется, можно было бы усмотреть громадность этого художественного диапазона. Если мы обратимся к каменному зодчеству Египта, то все оно предстанет в своих древнейших формах перед нами как бы естественным дальнейшим развитием форм каменного зодчества неолитических культур. В самом деле, древнейший египетский храм, храм Сфинкса близ Гизы, представляет из себя как бы дальнейшую развивающуюся естественным образом форму древнего дольмена, того, который мы можем встретить в любом месте неолитической Европы. Это — могила предка, это то, что не является искусством с нашей точки зрения. И этот храм Гизехский, он также как будто не обладает теми формами, которые мы привыкли считать формами художественными. Если мы возьмем пирамиды египетские, то почему мы также считаем их формами художественными, формами искусства. Это ведь также не похоже на то, что мы относим к искусству сейчас. Мы удивляемся той мощной технике, с применением которой эти формы были созданы, той изумительной пропорциональности, тому конструктивному совершенству, которое определяет эти формы, но в то же время мы с таким же успехом можем в любом современном техническом сооружении усмотреть все эти же свойства, отнюдь не относя их к области искусства. И под искусством мы сейчас понимаем совсем другое, а между тем такие вещи, как пирамиды, древние храмы, дольмены и менгиры, т. е. просто поставленные камни, производят еще и сейчас на нас впечатление

столь же сильное, какое может произвести на нас лишь произведение искусства. Есть какая-то тайна в их осуществлении, которая сделала их произведениями искусства несколько не менее подлинными, чем полотна Рафаэля, чем скульптура Фидия, Праксителя и других, и даже больше. На некоторых из нас они производят впечатление даже гораздо более сильное, чем позднейшие произведения искусства, которые мы гораздо легче и проще относим к памятникам искусства. В чем же здесь дело, и что собственно соединяет в единую цепь с развивающимися именно художественными формами вот эти древние памятники египетского зодчества с дальнейшими, скажем, карнакскими, луксорскими храмами. Казалось бы общего нет ничего между храмом сфинкса в Гизе и этими пышными богато украшенными храмами Фиванской эпохи. Казалось бы, что в фиванскую эпоху храм стал произведением искусства, а там нет. Есть различные стадии в эволюции культуры, есть стадии более высокие и менее высокие, и эти более высокие стадии культуры я бы назвал стадиями культуры пневматической, а более низкие — стадиями культуры гиллической. И есть некоторые промежуточные стадии в эволюционном развитии, которые можно было бы назвать стадиями культуры психической. То, что мы теперь считаем искусством в самом высоком смысле этого слова, не возвышается дальше стадии психической. Мы не можем себе представить искусства пневматического, а между тем, если обратиться к древнему Египту, то окажется, что все формы позднейшего искусства, нам близкого и понятного именно как искусства, включающего в себя формы художественные, являются чем-то производным, чем-то развивающимся из тех первоисточников, в которых вспыхивает это подлинно духовное, это пневматическое искусство. Я себе это дело представляю таким образом. Когда строится дольмен древним человеком — каменный ящик, могила предка, с колоссальным трудом выворачиваются из земли камни, собираются вместе, выстраиваются в более или менее гармонич-

ческую форму, хотя бы только гармоническую в своем плане, ради чего это делается? Что означает постройка камня — Менгира древним человеком? Нам предстоит сейчас отыскать те предпосылки, из которых исходит древний человек в достижении подобных сооружений, и мне представляется это, как некое действие человека по отношению ко вне его лежащему миру, к этим камням, которые он начинает ворошить, такое действие, которое превращает эти камни в нечто иное, чем они есть на самом деле. Человек фактически своим действием эти камни преобразует. То, что он взял и поставил эти камни, придало этим камням совершенно иное значение, камень перестал быть только камнем, стал внешним знаком осуществленного действия. Эта воля человека к запечатлению того мировоззрения, тех идей, ради которых он осуществляет действие, которые определяют собой это его действие, и сообщает воздвигаемому им камню чрезвычайную значимость. Больше ничего не нужно. Этим исчерпывается все. Этого достаточно для того, чтобы камень перестал быть камнем. По отношению к могиле предка этого достаточно для того, чтобы дух этого предка, этой культурной традиции, носителем которой он являлся и которая им была завещана и передана своему потомству, чтобы он остался здесь, чтобы этот дух предка, заключенный в его учении, фактически мог бы продолжать жить на земле. Вот эта могила, сооружение этого воздвигнутого камня — онп как бы впитали в себя этот дух его, это его учение. И древний храм, который из этой могилы предка развился, ибо он представлял из себя лишь распространенную в этом смысле форму алтаря у этой могилы, он сам, фактически своим осуществлением, совершенно конкретно, совершенно безусловно и очевидно для каждого, кто принимал участие в этом, воплощал в себе ту божественную идею, ту эманацию божественной сущности, во имя которой, ради которой, и для сохранения которой на земле он воздвигался. Вот это было искусство в самом чистом, в самом высоком, самом подлинном

смысле этого слова. Это было искусство магии, потому что здесь фактически человек в косной материи запечатлевал свой духовный образ, и даже не свой духовный образ, а нечто еще более высокое, то, что являлось содержанием этого образа, по отношению к чему сам образ являлся лишь оболочкой, это то, что Платон называет идеями, то, что можно назвать духом человеческим. Если мы присмотримся к тем архитектурным формам, которыми определяется все зодчество древнего Египта в его начальную пору, которую принято называть древним царством, и которое относится к мемфисскому периоду, то первое, что бросится нам в глаза, это геометричность всех форм и геометричность исключительная. Между прочим, все архаические орнаменты, самые древние из них также геометричны. Пирамида, например, построена таким образом, что там погрешность в кладке достигает совершенно минимальных размеров отклонений от идеальной геометрической формы. Колонны древнейших храмов в своих формах совершенно геометричны. Древнейшая форма колонн египетских храмов, как раз храма Сфинкса в Гизе, 4-х гранник, чрезвычайно точно и тщательно отшлифованный и выверенный в своих формах. То же самое с пирамидами. Они построены изумительно математично. Пифагор утверждал возможность единой формы для выражения идеи, формы числа. Он мыслил себе идею лишь в математических соотношениях. Ничто иное на земле, кроме числа, не может в полной мере выразить идею. Нам сейчас очень плохо понятно учение Пифагора. Мы просто не сможем его воспринять, нам совершенно не понятна символика чисел, вероятно потому, что мы очень далеко от непосредственного соприкосновения с миром идей и мы можем воспринять их иначе, через посредство других проводников. Но там, для Пифагора это было совершенно естественно, это была исключительная, единственная возможность для соприкосновения с миром идей. Пифагор, между прочим, был тесно связан в свое время со священством египетских жрецов. Эта геометричность форм древнего периода

египетского искусства, мне кажется, является совершенно очевидным указанием на ту роль, которую искусство призвано было осуществлять и играть. Искусство было, ну просто, как факт соотношения человеческого духа со всем его окружающим миром. Это было совершенно естественное и единственно возможное соотношение. Это было мироотношение человека, не его мировосприятие, потому что воспринимал человек мир, очевидно, непосредственно, а это было именно его мироотношение. Замечательно то, что формы древнего египетского искусства, архитектурные формы, совершенно не включают в себя никакого изобразительного элемента. Они формальны в самом идеальном смысле этого слова. Формы, как таковые, человеком осуществлены, формы человеком создаемы. Но такая форма в руках человека отражает его мировоззрение, он осуществляет ее, как свое действие. Здесь нет разрыва с тем, что человек воспринимает и с тем, что человек действует, что одно и то же. И вот, мне кажется, что такое искусство, искусство, которое имеет возможность воплотить идею, как таковую, является самой высокой формой искусства, это искусство пневматическое. В пределах этого искусства проходят некоторые эволюции форм и они не безинтересны. Если мы возьмем опять-таки только архитектуру, то мы увидим, что на протяжении довольно большого промежутка времени, тысячи с лишним лет, она обогащается сотней стропильных форм. Но, если мы возьмем только хотя-бы такие формы, как колонны, то мы увидим, что из 4-х гранной — наиболее простой формы — она постепенно превращается сначала в 8-ми гранную, потом в 16-ти гранную. Она улучшает при этом некоторые свои добавочные элементы, которые возмечают, как элементы конструктивные, но в дальнейшем оформляются, как элементы художественные. Это база, которую приобретает колонна, и вершина, венчающая ее — плита абака, затем 16-ти гранная колонна получает канелюры, т. е. ложкообразный вырез и таким образом создается тип протодорической колонны. Это конструк-

тивные элементы и те эволюции, которые претерпевает внешний вид колонны, также конструктивные, потому что здесь, собственно говоря, усложняется несколько техника обработки материала, и в этом усложнении как бы повышается квалификация этой техники, улучшается шлифовка, пропорции, как бы уточняются все те математические соотношения, которые создают колонну, как форму конструктивную. Сюда начинает привноситься некоторый эстетический элемент. Это первое, что приближает форму чисто конструктивную к тем художественным формам, которые свойственны искусству уже не пневматическому, а искусству несколько иного значения. Как будто получается что этого одного полного действия, одного акта содвижения камня, созидания каменных форм уже недостаточно для того, чтобы идея была осуществлена, выявлена, запечатлена в материале. Некая последующая идея — идея красоты, гармонии, эстетическая идея — становится проводником между этими действиями и материалами, подготавливающимися воздействию.

Дальнейший период в развитии стропильных форм характеризуется их коренным изменением. Формы начинают приобретать известную символичность. Так, например, создается лотосовидная, или напирусовидная колонны. Здесь получается следующее. Через посредство символа, через посредство его форм изображается идея, запечатлевается в материале. Какая идея? Идея религиозная, потому что храм создается, как жилище божества. Это божество, эта божественная сущность обитает в камне теперь уже не только потому, что человек сам, через себя, через свое действие, через свое внедрение в этот камень эту идею там выявил, а потому что он предпосылал этому еще некий, привлеченный в качестве посредника, образ из мира душевного. Здесь совершается переход во вторую фазу развития искусства, в фазу психического искусства. Это нечто совершенно иное. Это то, что мы уже привыкли считать искусством, что гораздо ближе к нам, это то, в пределах чего развивается из египетского

зодчества все дальнейшее египетское искусство. Мир образов сменяет в искусстве мир идей. Недостаточным теперь уже становится соотношение форм, как таковых, соотношение форм, числом выраженных. Это число, или эта идея нуждается в каком-то образе из мира земного взятом, в таком образе, через посредство которого могли-бы быть переданы людям эти идеи. И здесь предположение уже другая. Храм создается не только для того, чтобы в нем обитало божество, но и для того, чтобы это божество, в нем обитающее, приблизить к людям. Как будто-бы произошел отход людей от возможности непосредственно ощущать влияние божественного. Как будто-бы люди стали нуждаться в том, чтобы им об этом напоминали. И вот, лотос является теперь той формой, которая символически напоминает человеку о единстве его сущности со вселенской сущностью, потому что лотос — это самый древний символ, изображающий человека в его 3-м значении — человека пневматического, человека психического и человека физического, потому что лотос корнем своим в земле, в материи, ствол его в воде — это мир образов, мир душевный (этим символом, очень древним обозначается мир душевный) а цветок его поднимается из воды и расцветает в воздухе — это как бы духовная сущность человека. И вот, храм, потолок которого поддерживается колоннами лотосовидными, в которых выражается эта сущность человека, его общность с этими 3-мя мирами — мир материи, мир образов и мир духовный — и создает те условия, при которых божество может в храме обитать. Отныне оно может обитать только при условии признания его людьми, при условии соприкосновения с землей через души человеческие. И как раз к этому времени относится необычайное расширение храмов, храмы начинают строиться громадные, как бы в расчете на наполнение их большим количеством людей. Это относится уже к эпохе среднего царства.

В этом среднем царстве на ряду с такими формами изобразительными, в зодчест-

ве начинают появляться и другие. Все это протекает главным образом в сфере эволюции колонных форм. Начинают появляться самые разнообразные капители колонн. Колонны не только завершающиеся цветком лотоса, колонны папирусовидные, затем колонны пальмовидные и наконец, колонны чашеобразной формы, при чем, очень характерно то обстоятельство, что как будто-бы резкий перелом в египетском искусстве происходит после того, как мирное течение жизни египетского народа очень резким образом нарушается вторжением извне диких кочевников, гиксов, которые на 500 лет, как бы порабащают Египет, выделяют из своей среды фараонов, и вот, в течение 500 лет эти гиксы на египетском престоле. Это время, когда Египет испытал на себе все ужасы деспотической монархии. И когда, по прошествии этих 500 лет, гиксы были изгнаны из Египта и получилось такое положение, при котором возврата к прежним художественным принципам уже не было, как будто-бы вся египетская культура была выведена из плана пневматического, и стала выстраиваться в плоскости психической культуры. Это мне кажется очень достопримечательным фактом, потому что таким путем, путем насилия, был произведен большой сдвиг, была выбита культурная почва, — та традиция, которая дошла до египтян из предыдущей культуры, более высокой, и которая может быть была дарована, как бы завещана египтянам и утрачена, нарушена, и люди сразу оказались в новом культурном строительстве без культурной почвы.

Затем, наступает период очень пышного расцвета искусства и культуры на совершенно новых основаниях — это Фиванская эпоха нового царства, это строительство храмов в Луксоре и в Карнаке и в других местах, храмов чрезвычайно пышных, чрезвычайно украшенных. Вы чувствуете, что здесь искусство приобретает совершенно новые функции. Строятся пышные храмы и представление о божестве совершенно иное. Оно не живет в этом храме. Храм посвя-

шается ему, при чем взаимоотношения с этим божеством устанавливаются чисто символическим образом, путем его изображения на стенах, на колоннах храмов. Как будто само собой начинает подразумеваться невозможность непосредственного общения с ним. В эту Фиванскую эпоху, между прочим, очень пышно развиваются все местные культы, египетский институт жрецов. И вот, искусство является чем-то обуславливающим подобного рода взаимоотношения. Оно уже не творится так непосредственно, оно уже не несет в себе само собой подразумеваемого утверждения, оно как-бы создается не по существу, а по поводу данного культа, по поводу данной сохранившейся, но очень уже абстрагированной традиции.

Наконец, после этого пышного расцвета, снова наступает некоторый упадок. Это приблизительно в эпоху 20-й династии, а затем при переходе от 25 к 26 династии, начинается новый подъем культуры, но это так называемый Сапсский период, нечто вроде египетского ложного классицизма, стремление вернуться к самой глубокой древности, стремление вновь возродить древнюю традицию. Но это удастся, конечно, только формально совершенно так же, как это было в нашем европейском ложно - классическом эклектизме. По существу из этого ничего не получается и искусство не только не приближается к своему пневматическому первоисточнику, но наоборот расчлениются и усложняются те моменты его психической организации, которые складывались и намечались в периоде предыдущем. Главным образом это выражается в чрезвычайно развитом эстетизме форм. Колонны в своих капителях и во всех своих частях становятся чрезвычайно украшенными. Только таким путем, очевидно, удастся установить то соотношение, которое необходимо между человеком и храмом. И вот, базисом для религиозной традиции является эстетическая восприимчивость человека к чувству красоты, к чувству гармонии, к чувству прекрасного. Если можно так сказать, Бог проявляется в красоте, или вернее Бог воспри-

нимается через красоту, т. е. искусство по существу может выполнять ту же функцию, но только совершенно иными средствами. Оно развивается все время, гонясь, но не поспевая за человеком. За человеком деградирующим, за человеком, который все время спускается сверху вниз из области пневматической сначала в область психизма, а затем еще более глубоко с тем, чтобы в конце концов дойти до физического плана, который начинает определять жизнь в эпоху Птолемеев, которая наступает очень скоро после Сапсского периода. Это эпоха упадка в Сапсском периоде и эпоха его конца. С этого момента говорить о египетском искусстве, как о чем-то единственном не приходится, т. к. оно утратило из под себя свою собственную почву, оно начинает впитывать в себя целый ряд чужих влияний, главным образом, конечно, греческого и потом азиатского, и оно в конце концов очень быстро увядает. При этом, оно переживает фазу очень сильного огрубения, гипертрофии своих форм, например, вместо одной капители делают 2 капители просто для того, чтобы форма стала более пышной. Каждая из этих капителей развивается в столь пышную форму, какой она никогда не достигала раньше. Можно говорить о физическом плане потому, что красота такого порядка, красота гипертрофированная, она стимулируется некоторой чувственностью. Это то же самое, что было потом в греческом зодчестве в период образования коринфийского стиля. А мы знаем, что нравы афинян были достаточно развращены после греко-персидских войн. То-же самое происходит и в эпоху Александра Македонского и в эпоху Птолемеев в Египте, который соприкисается с развивающимся римским владычеством. И здесь в конце концов и эллинская культура разлагается, переходя в эллинистическую, сливаясь с азиатичной, и затем достигая весьма упадочного состояния в Риме.

Таким образом, на протяжении этих нескольких тысячелетий можно очень четко проследить всю ту эволюцию, которую проработала хотя-бы египетская архитектура от

храма Сфинкса в Гизе до Павильона Нектабео эпохи Птоломеев. Мы можем проследить здесь это изменение художественных форм в их основных принципах. Здесь выявилась совершенная различность тех предпосылок, которыми определялся характер художественных форм, и если в египетском храме Сфинкса человек выступает боговидцем, человек выступает ощущающим божество, если он устанавливает между собой и им совершенно непосредственную близость, не нуждающуюся ни в каком материальном проводнике, потому что разве только камень как таковой руками человека воздвигнутый, является этим проводником, то уже в эпоху Птоломеев человек чрезвычайно далеко отошел от этой возможности непосредственного соприкосновения с миром божественным. Теперь целое наложение различных посредников, различных проводников отделяют его от божественной идеи и эти проводники материальные, и есть художественные формы, они развиваются обратно пропорционально как-бы духовному росту человека. Искусство пневматическое мне представляется, как магия непосредственная, собственно для пневматического сознания не нужная, или вернее нужная в такой форме, в которой осуществляется непосредственное преображение. Искусство в том смысле, в котором мы привыкли понимать, там невозможно. Там возможна только единственная его форма, но зато универсальная, это форма мистерий. Та магия, в силу которой камень превращается в храм, и была мистерия. И, конечно, это искусство, которое выявляется в формах гипертрофированной чувственности, в формах, мобилизующих все эти воздействия, стремящееся заполнить эту пустоту блеском и пышностью своих форм иногда даже мишурных, такое искусство, конечно, очень далеко от мистерий. Когда я пытаюсь это сопоставить с сегодняшним днем, то здесь получается как-то странно. С одной стороны как будто бы мы чрезвычайно далеки от этой пневматической подосновы искусства, а с другой стороны она ощущается нами как чрезвычайно близкая. И вот странно, когда мы видим формы

египетского искусства сейчас, они как-то понятней и ближе нам, чем формы греческого искусства. Сейчас со все большей силой начинает увлекать мысль людей, и в частности мысль специалистов о тех возможностях, которые раскрываются в искусствах архаических, в искусствах очень близких к геометрическим формам, в искусствах так мало украшенных и несущих в себе ту большую наивность и простоту, ту непосредственность, в которой этот магизм, это действие ритуального знания так свежо и так очевидно.

В египетском искусстве еще одно обстоятельство меня всегда поражало и кажется мне очень значительным. На протяжении очень большого периода времени, хотя и совершаются все те эволюции, о которых сейчас шла речь, все-таки эти эволюции не столь значительны, как то единство формы, которая через все эти века и тысячелетия идет нерушимая.

Все то, что я говорил о значении этих эволюций мною несколько как-бы подчеркивается сознательно для того, чтобы выявить с большей выпуклостью и очевидностью значение этих эволюций. Но, конечно, если бы мы взяли эти древне-египетские формы и сопоставили бы их (даже те эклектические) с искусством европейского эклектизма, то, конечно, между ними было бы чрезвычайно мало общего, потому что все-таки, они в пределах осуществляющихся эволюций, остались египетскими. Единство стиля их, как стиля египетского, как этого общего эгрегора данной культуры не нарушилось. Это обстоятельство поразительное. Оно поразительно потому, что так непривычно для нас. Мы так привыкли к тому, что искусство на протяжении каждого десятилетия, каждого даже пятилетия, наше искусство современное прыгает от одного стиля к другому. Сколько "измов" всяких пережили мы и почему там так это спокойно и плавно. Почему мы мечемся от одной крайности к другой, от реализма к кубизму, от кубизма к Энгру и к Татлину, а потом опять ищем в прежних пройденных этапах. Что-то потеряно. Это ощущение потери так

катастрофично и так больно переживается сейчас всеми художниками и не только художниками, но и всеми теми, кто соучаствует в их творчестве, кто является не активным а пассивным творцом, творящим в своем восприятии. А там этого не было. Там была какая-то найденность. И мне кажется, что в этом стиль египетского искусства, — какая-то найденность. Найдена форма, столь отточена она и так утончена, что она удовлетворяла всем потребностям и всем запросам культурным; которые в это время по отношению к этим формам могли быть проявлены. Была какая-то убежденность и безусловность. Не было колебаний в том, что это должно именно так быть. Ведь как-бы ни эволюционировала, как бы ни варьировалась форма, хотя-бы строительная форма этих колонн, они все-же остались колоннами в храмах. Это все-же были храмы и ради осуществления этих храмов, хотя-бы значаще выраженных только в одном камне, а потом в гигантском пышно украшенном виде, это все-таки были храмы. Ради этого храма, в пределах этого храма, для него форма эта осуществлялась она была осмысленна, она была оправдана этим, в этом был ее *"raison d'être"*. Современный исследователь приходит в совершенное изумление от количества тех усилий, которые требовались для построения такого сооружения, как, например, Хеопсова пирамида, которая никакими современными усилиями не может быть повторена, потому что нельзя сосредоточить на этой работе такого количества рабочей силы, а там это осуществлялось неоднократно, потому что не одна Хеопсова пирамида построена, а их очень много. И все эти храмы требовали затраты несколько не меньших сил. Предполагать, что все это делалось из под кнута, путем деспотического воздействия — трудно. Легче предположить другое, что в возможности создавать подобные сооружения сказалось единство устремленности тех, которым это сооружение было нужно. Они были действительно нужны. Без них жизнь не могла быть. Нужны были эти храмы. А раз такой храм был нужен всем, то на нем можно сосредоточить

гигантские творческие силы. Можно эту задачу осуществить в полной мере в пределах тех технических возможностей, которые здесь были. Техника могла развиваться до тончайших своих возможностей, до высочайших пределов. Поэтому те формы, которые вырабатывались и создавались в египетском искусстве, они были, по существу, формами совершенными. Египетское искусство не знает несовершенных форм, начиная от самой простой, от этой 4-х гранной колонны Гизского храма, и кончая самой пышной, самой развитой формой капители в павильоне Нектанебо. Это формы совершенные. В египетском орнаменте, египетские изобразительные формы, как в барельефах, так и в грубой пластике совершенны в пределах, конечно, того стиля, который здесь имеет место, потому что анатомического совершенства в изобразительных формах нет и в пластических рельефах нет даже перспективных возможностей, так как это не было нужно. Но если бы это было нужно, это было бы достигнуто, как была достигнута исключительная портретность, когда это было нужно, как была достигнута исключительная ритмичность формы, когда это было нужно. Очень часто, по крайней мере раньше, недоумение возбуждала сознательная неанатомичность форм в египетском искусстве. Но мне кажется, что это самое не странное. Это не странно также, как не странно, что изображения в капителях лотосовидных колонн не натуралистичны. Мне кажется, ни одному из египетских художников, который осуществлял эту работу, делал эту капитель, в голову не могло прийти, что может кому-нибудь понадобиться натуралистическое изображение цветка в храме. Ведь цветок был взят вовсе не как таковой, а как символ и только как символ и только до тех пределов, до каких это обеспечивалось его символичкой, обеспечивалась передача известного идейного соотношения только до этих пределов и нужна была форма, как форма изобразительная — не дальше. Очевидно, египтяне на весь мир смотрели иначе, чем это доступно нам. Для египтян вообще все предметы были прозрачными

камнем, были прозрачны потому, что они через этот камень, через эту землю, через предмет видели все то, что являлось содержанием этого предмета. И форма, и внешняя форма, она ни в какой мере не определяла собой этого предмета, его назначения, его смысла. Но это совершенно так, как-бы смотрели на человека и видели бы его мысли и не только мысли, но если можно так сказать, его душу. Вот, какой-то иной образ человека, который современные оккультные учения называют астральным образом человека. Человек с большой буквы — вот, собственно говоря то, что определяет человека в египетских рельефах. Там совершенно не было этой свойственной нам иногда "червивой" точки зрения на человека, что человек есть прах от земли, что он в землю отойдет. Просто им это как-то непонятно было. И соотносить человека с тем, что в нем является прахом и что как-бы подчеркивает и напоминает об этом — им казалось не нужным. Отсюда отсутствие анатомии, потому что скелет — это что-то случайное в человеке. Ведь важно не это, а то, что в человеке не разрушается, то, что в человеке не есть прах, а то, что в нем вечно. И они ищут на земле таких форм и таких вещей, которые бы ближе всего подходили к вечности. Вот быть может почему камень, как основной материал, и в этом отношении они не ошиблись — пирамиды стоят до сегодняшнего дня, и кто знает, сколько еще лет они способны простоять. Материал выбран удачно, вечный и когда в этом материале запечатлен образ человека художником, то он как бы и соотносился к этому материалу в своей форме. Если мы обратим внимание на композицию в построении фигуры человеческой на плоскости, то мы не можем не признать разрешение композиции идеальным. Человек соотнесен к несущей его каменной поверхности так, что использованы все, характеризующие эту поверхность элементы, как элементы ее формата, так и самой плоскости, определяемой характером материала этого вечного камня. А формат определяется не только свойствами этого самого материала, но и этим осу-

ществлением в материале через число, через геометрическую форму идей. Человек взят, как идея и соотнесен к этой идее. Собственно, разрешено это самым гениальным образом так, как сейчас не удастся современным художникам даже в обратной концепции, т. е. в стремлении показать всю эту "натур-мортность" в человеке. Так, Сезан, который пытается писать человека, как глыбу камня, вообще, как мертвую природу — и, мне кажется, что это не достигает того совершенства, которое в обратной концепции мы можем наблюдать у египтян. Отсюда устойчивость их стиля, потому что ведь стиль в сущности и есть выявленная предпосылка духовная в творчестве. Это пневматическая предпосылка, это взгляд на человека, как на духовную сущность, как на идею, которая в образе воплощена временно. Ибо только это и дает художнику возможность все остальное ясное просто игнорировать. Это и определяет собой неизбежность стиля художественных форм в египетском искусстве. Там, собственно, нечего было менять и не от чего и не к чему было метаться — очень твердая почва. И действительно, тысячелетия все это держалось и когда мы теперь еще через несколько тысячелетий с этим соприкоснемся, на нас также повеет от египетского искусства такой неизбежностью, убежденностью, такой уверенностью, потому что нельзя говорить, что это была вера, это была именно уверенность, это было знание, что дело именно обстоит так, а не иначе. А нам придется, конечно, метаться от Сезана к Пикассо, а от Пикассо к Энгру, потому что у кого из них еще не утрачено чего-то от духа трудно даже понять и разобраться в этом.

И начал говорить об архитектуре, потому что мне кажется, что из всех искусств на земле, осуществленных в пределах искусств изобразительных, архитектура является самым изумительным, изумительным в своей простоте. Когда искусство оперирует с образом, это уже как-то проще, т. е. вернее не проще, а как-то понятней и ближе нам. Но когда создается форма из безформенного, путем просто волевого воздействия на эту

форму человеком, вот это чудо, это искусство, как чудо, потому что здесь действительно хаос претворяется в космос, здесь то, что было мертво, начинает жить и эта жизнь есть гармония. Мне кажется, поэтому, так естественно, что именно из архитектуры и развиваются дальше различные виды изобразительных искусств или искусств пластических. В Египте так это и было. И Египет представляет для нас в этом отношении не забываемую колыбель всех искусств. И вот, страшно мне кажется ценно и поучительно для нас — это не разединенность искусств изобразительных в древнем Египте, но крайнем в древнейшем периоде. Скульптура вне архитектуры там не мыслилась, она и создавалась для того, чтобы находиться в усыпальнице или в храме. А живопись или то, что предшествовало живописи, осуществлено изобразительными формами в разкрашенных рельефах, не имела смысла помимо храмов, потому что сама техника их осуществления, сама форма их определялась целиком их содержанием, как формами архитектурно обоснованными. Если бы мы хотели несколько расширить наши рассуждения и немного отвлечься от искусств изобразительных, то мы также увидели бы и все остальные искусства, искусство хореографическое, танец, искусство музыкальное, искусство вокальное и наконец искусство театральное в ритуале, в священнодействии, — все было объединено одним храмом, все было синтетично, это был синтез искусства. Это было то, о чем так недавно мечтал Скрябин, как о предстоящей, как о грядущей мистерии, в которой сольется все. Там это сливалось и вот от этого слиянного состояния к нам идет распадаясь.

Такую слиянность в мистерии можно было бы называть хореей в искусстве. Это какое-то всеобщее стремление, потому что в храме ведь совершалось священнодействие, священнослужение и молитва. Это то, в чем души человеческие подымались к духовным высотам. Это способность искусства поднимать к духовным высотам души человеческие — вот эта хорейность искусства, это как раз то, чего нет сейчас у нас и без

чего может быть вообще бессмысленно искусство. Там искусство возникало и развивалось из этих мистерий, из этой хорей. По мере того, как человек все дальше и глубже погружался в жизнь материальную, в его пути от высот пневматических к низам физическим, это хорейское искусство не оставляет человека, усложняется, обогащается, утончает технику свою для того, чтобы по прежнему служить человеку на тех низах, на которые он опустился. Но когда разорвана связь между человеком и храмом, хорей распадается, искусство дифференцируется. Собственно говоря, уже в классической Греции мы не имеем хорейского искусства. Там все пошло своим путем, каждый вид искусства в отдельности. С таким же успехом можно было сказать не только об искусстве, но и о культуре в целом, потому что ведь в древнем Египте вовсе не было науки отдельной от религии, не было естествознания отдельного от религии, не было социальных вопросов и вопросов политических, которые бы нуждались в разрешении иным, чем в религиозном. Так, что если говорить о хорее и ее возможностях, то можно говорить о ней не только в пределах искусства, но и в пределах общекультурных. Так, очевидно, было в Египте. Интересен вопрос: Так все это было, а потом стало падать и падать. Почему?

Мне кажется, дело здесь в том, что, вообще, о египетской культуре мы говорить не можем. Мы не знаем египетской культуры, как таковой. Мы знаем культуру какую-то иную, чем египетскую, которая легла в основу египетской цивилизации. Вот все, что осталось нам от Египта, все это есть памятники египетской цивилизации, а культура была до этого. И может быть последними вехами на этом пути культуры и были те формы искусства, которые нами могут рассматриваться, как формы искусства пневматического. А все дальнейшее, все это есть уже упадок, это есть уже нечто, что роковым образом идет к низу. Каковы причины этого — трудно сказать нам. Мы не имеем для этого основания. Платон был ближе к египтянам и ко всем событиям, связанным

с гибелью Атлантиды. В Критие он говорит об этих причинах, о том, что отдельный человек измечтал и развратился и тогда отен богов, кто правит вселенной, Зевс, разгневался и т. д.

Рассматривая египетское искусство с точки зрения его вне - временной значимости, так сказать, через головы веков, приближая его к проблеме культурного строительства нам современного, нельзя не остановиться на значении в этом смысле египетского пероглифа. Он возникает ведь также, повидимому, вне специфической художественности, они сродни пирамидам и древнейшим храмам. Недаром и форма его определена не его изобразительностью предметной, ибо это лишь его функция, а геометрическим ритмом.

Пероглиф — священная резьба — так называли эти таинственные знаки греки. Пероглиф — не письменный знак, таким он становится лишь потом, приспособляясь к потребности в письменности, этому типичному фактору психической фазы человеческой культуры. Пероглиф — это священный знак культуры пневматической, в письменности не нуждавшейся, ибо культура эта опирается всегда на устное предание, логос действительный, не отъединенный от бытия.

В этом смысле по отношению к египетскому пероглифу можно было бы сказать все, что было сказано мною по отношению к формам, сложившимся в пневматической фазе египетской культуры. Осуществление этих форм есть магия, и пероглиф — магическая формула. В этом таинственном, сверхмысленном знаке дано было человечеству осознать свое духовное первородство, через его форму прозреть духовными очами. Пероглиф фактически разрешил проблему видения в мирах потусторонних, ибо дал возможность видеть при посредстве физического зрения феномены мира духовного, идеи, сделав как бы прозрачным камень. Само начертание пероглифа в этом смысле именно и являлось магическим актом, разрывающим ауру нашего космоса, тем актом, силой которого рушилась твердокаменность стен гранитных и базальтовых и за ними, и

сквозь них как бы не проявленными в материи раскрывались сущности миров высших.

Из неведомого доисторического египетский пероглиф предстает в исторических эпохах как законченная данность. Где и когда протекало его многосложное развитие для нас неведомо так-же, как и для самих египтян. Разница этого незнания лишь в том, что мы беспомощно блуждаем в гипотезах и всякого рода наукообразных догадках, тогда как они просто не сомневались в божественном происхождении пероглифа, искусство осуществления которого как и вообще вся магия были переданы египетским жрецам в сокровенных святилищах богом Тотом, Гермесом трижды величайшим.

В сущности говоря, египетские пероглифы в их сакральном значении для нас остаются сокрытыми. Их подлинное содержание эзотерично и проникновение в него есть таинство, в эзотерических мистериях раскрывающееся. Так пероглифы передавались лишь жрецам и осуществлялось их начертание во всей полноте их мистеральной значимости ими одними.

Уже в эпоху Древнего Царства пероглифы применяются, повидимому, не только как и идеографические знаки. И тогда, неминуемо происходит дифференциация функций пероглифической формы. Эта последняя развивает свои внешние данные, образуя с одной стороны писменные знаки, с другой — форму плоскостной изобразительности. Это как бы предвестие психической фазы египетской культуры, в которой развивается изобразительное искусство и фонетическая письменность.

Что вся египетская плоскостная изобразительность развивается из пероглифических форм и в основе своего стиля сохраняет до конца идеографический принцип не трудно показать на тысяче примеров.

Что же касается письменности, то с совершенной безусловностью устанавливаются этапы ее развития в соответствии с эволюцией изобразительных форм.

В Древнем Царстве пероглиф идеографичен, изобразительность его самого дейст

вует на образование понятия. Однако эта изобразительность получает уже как бы и самостоятельное бытие в художественном образе, хотя и вполне архаичном и по своим формальным данным почти совпадающим с иероглифом.

В эпоху Среднего Царства, а тем более Нового, положение дел значительно меняется. Наряду со старым идеографическим использованием иероглифов развивается фонетическая читка, он приобретает значение буквы, переходя в перотическое и затем демотическое письмо, в котором утрачивает свой формальный ритм, снижаясь до обслуживания бытовых нужд. Это — глилическая фаза его развития.

Плоскостная же изобразительность, в свою очередь, приобретает в Среднем и Новом Царстве новые данные в эстетическом, характерологическом и жанровом ее определении, так же как бы спускаясь до служения человечеству на низах его житейской суетности. Но магическая функция как письменного знака, так и изображения на плоскости не утрачивается и действует на всех культурных ступенях осуществления этих форм. Проходят века и тысячелетия, сменяются народы и культуры, но всегда и везде принцип письменности и изобразительности выявляется все в той же неизменной значимости основных культурных факторов, через которые усваивается народами нерушимая, как бы единая традиция духовной культуры, истоки которой поистине эзотеричны и теряются в глубинах тысячелетий, где то там, по ту сторону иероглифов, там, где бытие не сковано временем. Не там ли ключ к разрешению вопроса о строительстве культуры завтрашнего дня?

И не потому ли такими близкими, такими странно сегодняшними встают перед

нами эти величайшие памятники Духа, осепныше человека на заре его культурной жизни?

Может быть то чарующее, и то таинственное, что заключалось в египетском искусстве, что нами ощущается и что не в Египте было создано, а в Египте лишь удержалось в течение тысячелетий, видоизменяясь и приспособляясь к эволюционирующему человечеству, дошло каким-то образом и до нас, потому что мы об этом не забыли, мы сегодня говорим об этом и говорим об этом, как о чем-то совершенно конкретном, реальном, как о возможности, на которой мы можем быть построим культуру завтрашнего дня. Это и является тем вечным, что не изменяется в культурах, а проявляется в них по различному и что нужно только найти, найти так, как это свойственно нам, найти в том приспособлении, в котором нами это может быть воспринято. Именно нами определяется возможность этого возрождения или по другому можно сказать — через нас. Может быть про это говорил Христос о царстве Божием, которое внутри нас и об этом говорили греки, когда на воротах Дельфийского Оракула было начертано: "Познай самого себя." В сущности говори, вся культурная проблема, таким образом, есть проблема личная и нельзя говорить о культуре, как о чем-то абстрактном, даже о египетской культуре можно говорить только, как о чем-то личном. Если мы говорим о пневматических базах там, то для нас это станет реальным только тогда, когда мы сами будем пневматик. А если мы будем пневматик, если мы раскроем в себе эту пневматическую сущность, то вопрос строительства культуры завтрашнего дня является вопросом разрешенным.

Л. Н.

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ОТДЕЛ

А. А. СОЛОНОВИЧ.

„ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ“

Подобно тому, как отдельный человек в своем развитии проходит известные фазисы, так точно проходит известные фазисы и каждая культура. Каждая культура представляет собой как бы определенную индивидуальность, она рождается, она умирает. Отдельный человек — дитя своего времени, своей эпохи, своей культуры. Вот он подошел в этой культуре, к которой принадлежит, к ее последним выводам, к ее заключительным моментам. Он стоит и сознает, что культуру эту он исчерпал вполне. Жизнь народа во всех ее проявлениях, жизнь отдельных групп этого народа ему понятна, он ее изжил, он впитал в себя все, что может дать ему его эпоха, но он чувствует, что тут еще нет конца, что можно было бы подняться куда-то дальше, куда-то выше. И в то же время, он может в некоторых случаях созерцать, как все вокруг него, дойдя до известного апогея, начинает рушиться. Приблизительно такое чувство испытывали некоторые из римлян времен упадка, эпохи разложения. В некоторых из них еще были силы, которые могли бы дать что-то новое, а между тем уже кругом ясные следы старости и дряхлости показывали, что ждать от окружающего больше нечего. И бывают такие моменты, когда человек может прийти к сознанию, что, быть может, не все еще изжито в данной культуре, что культура переживает какую-то остановку и заминку в развитии. Но тогда отдельная индивидуальность чувствует, что в ней больше запросов, чем возможности получить ответы на эти вопросы из окружающей действительности. И вот, к таким эпохам принадлежит и наша. Мы видим страшный хаос всюду, страшное смещение, что-то вокруг нас рушится, но мы еще не видим тех зорь, которые бы нам указывали на восход солнца каких-то новых культур. И когда мы

бросаем взгляд на прошлое, то мы замечаем странное явление: есть времена, есть эпохи, когда данный народ, например, в своем развитии доходит до известного момента и начинает как-бы топтаться на месте, потом он погибает, на его место приходит другой народ, он также доходит до такого же места, также топчется на месте и опять, как его предшественник, погибает. И когда мы смотрим в историю, когда мы проглядываем судьбу различных эпох, различных культур, мы находим там целый ряд таких моментов. Достаточно сравнить эпоху разложения греческой культуры, эпоху разложения Рима. Она во многом напоминает наше время. В те эпохи люди дошли до известного предела и дальше они чего-то будто-бы не разрешили, на что-то у них не хватило сил. Таким образом, современная эпоха уже ставит трагический вопрос — а что же дальше, будем ли мы также топтаться на месте, чтобы потом погибнуть, а на то место, где были мы, придут новые народности, новые классы, которые все это сметут с лица земли и потом снова начнут все тот-же путь. Когда таким образом ставится вопрос, то каждая индивидуальность, которая ставит этот вопрос, сейчас же приходит к такой формулировке, что для того, чтобы двинуться вперед, для того, чтобы преодолеть какое-то роковое препятствие, которое не дает двигаться дальше, нужно что-то преодолеть в современности. Эта индивидуальность оглядывается вокруг себя, она видит эту современность, не находит в ней ответа, и тогда она заглядывает вглубь прежних эпох. Правда, такой взгляд назад может быть двух родов: или индивидуальность уходит в эту старину, в эту глубь веков для того, чтобы там забыть-ся от настоящего, для того, чтобы в фантазии, переселив себя в те эпохи, забыть

современность, создать какую-то свою причудливую фантастическую жизнь, но удовлетворяющую ее, или же она пойдет туда с запасом сил, энергии, желания взять из этого прошлого все, что можно и, применяя это к настоящему, творить это настоящее.

В прежнее время люди говорили, что история нам дает примеры, которые нас учат, которые показывают нам ошибки прежних людей, и позволяют нам учиться на этих ошибках. Потом, пришла пора, когда историю начали рассматривать с научной точки зрения, т. е. стали искать закономерности этой истории, стали искать те законы, которые определили ход развития всего человечества. Но, в конце концов, если посмотреть на последние, чисто научные достижения, и если применить сюда беспристрастный взгляд, то картина будет рисоваться в несколько ином свете. Однако, когда мы подходим к истории, подходим к ней со своими обычными запросами, то, как говорят, "каждый находит то, что ищет", и это особенно применимо к попытке восстановления исторических эпох, исторических культур. Если в историю будет заглядывать Маркс, то он там найдет одно, если заглянет представитель какого-нибудь другого течения, то он найдет другое, словом, каждый найдет там то, чего он хочет. Как же мы должны отнестись в данном случае? Для того, чтобы можно было об этом рассуждать, я предлагаю вам такой подход. Мы знаем, что имеется положительная наука. Что она из себя представляет? Она представляет из себя приведенную в систему совокупность известных знаний о фактическом, что совершилось или совершается в природе. Система только приводит в порядок этот фактический материал. Пользуясь примером Пуанкаре, мы можем сказать, что наука — это библиотека, где на полках в систематическом порядке расставлены книги. Книги — это факты, шкафы — это система, это сама наука, как она является в своем окончательном виде. Если мы имеем груды книг, наваленных на полу, то для нас она может быть бесполезна. Чтобы найти нужную нам книгу, придется совершить слишком

большой труд, чтобы ее разыскать и, может быть, легче будет повторить самый опыт, чем найти эту книгу. Но и пустые шкафы нам также бесполезны. Таким образом, каждая научная теория есть шкаф и книги, которые в него укладываются в систематическом порядке, дают нам те или другие ответы в науке. Отсюда следует, что для каждой любой совокупности фактов мы можем заказать любые шкафы. Правда, эти шкафы мы стараемся заказать такие, чтобы книги расположить наиболее удобно для нас. Но, по отношению к книгам, к их содержанию, шкаф представляет чисто внешнее значение. Книги с любым содержанием я могу расположить в любом шкафу. Значит, если дана любая совокупность фактов, то ее я могу поместить, вообще говоря, в любом шкафу. Каждая научная теория может объяснить любую совокупность фактов и каждая совокупность фактов может быть размещена в любой научной теории. Отсюда следует, что всякая научная теория есть только вспомогательное средство для систематизации фактического материала. Те люди, которые называют себя учеными, представляют собой людей, обладающих знанием определенных фактов, знанием определенной научной теории, т. е. обладающих теми шкафами, в которых они эти книги распределяют. Их роль — роль библиотечарей.

Теперь, когда мы рассмотрим, что же этим достигается, то мы увидим, какая теория, в конце концов, для каких фактов подойдет, для какой совокупности книг является удобным этот шкаф, для какой совокупности книг и чем он удобен — тем, что он вмещает такое-то количество книг, такого-то формата, тем, что он стоит у меня в кабинете и т. п. Таким образом, совершенно утилитарными задачами руководствуется тот, кто создает научную теорию. Раз так, то мы могли бы сказать, что всякая наука есть только квалифицированное ремесло. Она задается целью создать для человека удобство в употреблении тех или других известных фактов и никакого другого критерия для научной теории, а ста-

ло быть и для научного мировоззрения нет кроме удобства. Так как расположение книг есть задача так называемой комбинаторки, и т. к. к комбинаторке не применима категория истины и лжи, потому что нельзя сказать, что данное расположение более истинно или ложно, чем другое, а можно говорить только о том, что оно более удобно, то, стало быть, к науке категория истины не применима, наука никаких истин, в этом смысле, не знает. Наука только систематизирует более или менее удобно известный фактический материал. Так дело происходит в том мире, в котором мы живем и который мы прежде всего определяем, как мир 3-х измерений пространства. Все, что находится в этом пространстве, все это комбинируется в тех или других мировоззрениях, и эти мировоззрения совершенно ничего общего не имеют с вопросом об истине и лжи. Критерием для них является только удобство.

Что же такое история? История есть совокупность событий. Что же такое события? События, как определил впервые в математике Минковский, есть точка в четырехмерном мире, в котором измерением служат — длина, ширина, высота и время. Каждое событие есть точка в четырехмерном мире, но ясно, что те рассуждения, которые мы произвели сейчас в отношении трехмерного мира, без всякого изменения могут быть приложены к миру четырехмерному, т. е. мы имеем совокупность фактов, в данном случае, 4-х мерного мира, т. е. фактов исторических и мы можем их объединять в любые комбинации, в любые шкафы их располагать, и ни к одной из таких систематизаций, ни к одному из таких исторических мировоззрений не приложима категория истины и лжи. Мы можем говорить только о том, что данное историческое мировоззрение более или менее удобно для нас. Поэтому, можно, перенося точку зрения 3-х мерного мира на мир 4-х мерный, сказать, что мы должны выбрать из всех возможных точек зрения, из всех возможных исторических систем, из всех возможных взглядов на исторические события, тот, который для нас удобнее.

Всякий научный метод имеет целью не познать факты, а объяснить их, т. е. скомбинировать с другими. Задачи этого объяснения чисто утилитарные. Но по существу — такова же задача философии, в частности метафизики. Разница только в том, что последняя рассматривает утилитаризм в области всего мыслимого. Она стремится в конечном итоге, антропоморфизировать весь мир в форме его рационализации. Все рассуждения, например, Канта, априорны постольку, поскольку апостериорно им признан сам человеческий разум. Этот человеческий разум признается затем абсолютным и истина ставится 'соответствием между понятиями и действительностью' т. е. ставится задача создать из области мысли систематический каталог библиотеки мира.

Ведь со времени греков мы не имеем ни одной подлинно новой мысли в философии, а наука есть только применение уже давно и окончательно выработанного аппарата мысли к изучению внешнего мира. Логика явилась подобно Палладе из головы Зевса в законченном, взрослом состоянии и даже вполне вооруженной. Таким образом, и философия имеет своей задачей все ту же пользу — она насквозь антропоморфична.

В этом смысле совершенно правы Мах и Авенарус, рассматривая все это под углом экономии мышления. Конечно, они не в силах разрешить вопроса — является ли в конце концов эта экономия причиною или только следствием, но это для нас сейчас и не важно.

Так или иначе, но предыдущие рассуждения мы можем резюмировать таким образом, что все, что относится к области человеческой мысли имеет своей задачей пользу, стремится к захвату объекта для его использования личностью, стремится к власти над объектом. Мысли человеческой, как таковой, присуще, имманентно стремление к власти и древние прекрасно понимали это, когда связывали манию со словом, как выразителем понятий. Понять вещи — значит владеть ими. Владение же стремится так или иначе использовать объекты. Поэтому, как в естествознании, так и в истории

ная теория, всякая философия есть система использования, относящаяся к критериям пользы и объяснения, а не к критериям действительного познания и истины. Критерий экономичности, критерий удобства лежит в основе нашего мышления, в понятиях.

Но что же это за критерий удобства, — в чем он заключается? Нужно уяснить себе, что понятие об удобстве не может получить свое содержание ни из прошлого, ни из будущего. Это происходит потому, что прошлое не может быть ни удобным, ни неудобным, будущее, еще не наступившее, также не составит содержания этого понятия. Остается одно: взять содержание понятия "удобство" из настоящего. Что такое настоящее? Настоящее — это тот миг, который, собственно говоря, не существует, как таковой, а говоря более широко, это — та жизнь, которой мы живем, жизнь, взятая во всей совокупности.

Вот из этой настоящей, действительной, реально нами переживаемой жизни мы и можем взять критерий удобства. То, что таким образом, позволяет нам жить, то, что позволяет жить как можно более полно, сильно, мощно, красиво и т. д. вот это только и может быть критерием для составления того или другого исторического мировоззрения. Но ведь историческое мировоззрение, как ведро, в которое можно зачерпнуть что угодно — помой или чистую воду, ложь или лучшие блага, мы можем опустить его в огонь исторического потока и вычерпнуть оттуда то, что в данный момент нам удастся вычерпнуть, значит, критерием является задание настоящего момента. Поэтому, когда мы попытаемся теперь подойти к поставленной проблеме, с этой точки зрения, вопрос станет так, — если мы обращаемся к прошлому, желая взять его для того, чтобы творить настоящее, то из настоящего мы и должны взять критерий для оценки прошлого, для того, чтобы так, или иначе его синтезировать. Только задачи временного момента определяют для нас и характер прошлого. Подходя с этой точки зрения к поставленной нами проблеме мы должны будем, прежде всего, дать опреде-

ление тому, что же требует настоящее, в чем его задание? Когда мы, таким образом, подходим к этому, то уже зная, что в истории были моменты аналогичные, мы можем поставить вопрос так — один человек идет к настоящему и к прошлому с одними записками, другой — с другими и т. д., но можно все же указать некоторые общие, свойственные целым группам людей особенности, которые определяют и характер действий данного человека и его отношение к настоящему и к прошлому. Если мы поставим так вопрос, что человек дошел до того, что исчерпал всю современную культуру, что же дальше? Вопрос, опять таки, приобретает двухсторонний характер; мы знаем, что в прошлых эпохах люди приходили к тем же задачам и, все таки, через них перешагнуть не могли. В чем же тут дело? Если мы посмотрим на себя, то в самих себе мы можем найти решение этого вопроса. Дело в том, как мы будем относиться к прошлому и к настоящему. Перед вами человек, он растет и развивается; он был ребенком, юношей, он переживает, он учится, он что то познает. Что происходит с тем материалом, который он приобретает благодаря учению? Если вы обратите внимание на это, вы поймете, что материал, который сообщается человеку в жизни, имеет некоторые особенности, особенности не зависящие от содержания тех научных дисциплин, которые он проходит, он не столько учится, сколько перевоспитывается. Вырастаю, он выявляет новые и новые свойства подобно тому, как растение, когда растет, приобретает — листья, цветок, плод. Нечто подобное происходит и с индивидуальностью.

На то, до какого фазиса развития достигает человек, почти не влияет содержание того учения, которое он проходит. Для того, чтобы это ярче осветить, я предложу сделать такой психологический экскурс. Вот перед нами совокупность людей; если мы будем присматриваться к их действиям, а также заглянем в самих себя, то мы найдем древнее деление людей на три категории, которое действительно и для настоя-

щего времени. Человек может свои интересы сосредоточить, или на своей физической жизни, т. е. на своей телесной стороне и на всем том, что с этим связано, или он может эти интересы сосредоточить на эмоциональной стороне, или он может подняться выше — выявить некоторые свойства, которые носят название “духовных.” Для того, чтобы резче оттенить в чем же дело, я позволю себе нарисовать три типа, три фазиса развития человека, и, как мы увидим, такие же три фазиса развития и человеческой культуры. Каждая культура, если взять ее как индивидуальность, проходит те же фазисы, как и отдельная человеческая индивидуальность. Я беру известное деление на психиков, физиков и пневматиков или, как оно проводится БАКУНИНЫМ — люди животности, люди мысли и люди бунта. Позвольте, товарищи, охарактеризовать эти типы таким образом. Представим себе, что вот живет физик, его интересы исключительно сосредоточены на его физическом теле, для него реальностью является его физическое тело, то же, что он не может пощупать пальцами, то, что он не может осязать — это для него не существует, поэтому, например, для него не существуют люди, живущие далеко, которых он не может увидеть. Он может о них говорить иногда, но это будет для него какое то теневое существование, его интересы сосредоточены около его тела и всего того, что с этим телом связано, что с ним соприкасается непосредственно, т. е. семья, небольшой круг его знакомых и то служебное, или хозяйственно-экономическое положение, которое он занимает. Он живет инстинктом животного так, как жили его предки, как живут пока многие, это — типичный человек толпы. И характерно для такого человека, что, если он кончил университет, его физическое направление несколько от этого не меняется, он и в науке будет смотреть только на физическую сторону, даже в людях, даже в искусстве он будет искать только это. Если вы посмотрите чем живут такие, даже окончившие университеты и т. д., люди, то увидите, что они, в большинстве случаев,

не живут тем, что они узнали, они живут известным ограниченным кругом идей, который может быть разменяем на звонкую монету ощущения. Если они изучили и знают по университету, или среднему учебному заведению, что существует система Коперника, то для них это нечто нереальное, для них реальна та земля, на которой они стоят, то, что касается их непосредственно. Его личность вполне определяется интересами его физической стороны и только! Он вполне уверен, что проблема добра и зла решается в пределах его телесной жизни. Он будет несчастен, если он голоден, он будет несчастен, если у него совершилось в семье, что либо противное обычаю, но ему глубоко безразлично, что совершается с людьми в Америке, в Австралии — это его не трогает. В газетах его больше занимает отдел хроники и происшествий, например, то, что Ив. Ив. попал под автомобиль. Реален Ив. Ив., автомобиль — также реален. То, что совершается далеко — для него не существует. Значит, проблема добра и зла решается в пределах его телесной жизни и того, что с ней соприкасается.

Несколько выше стоит психик. Собственно, психик это типичный человек, человек, как таковой. Он живет своими эмоциями и всем тем, что из них вытекает, он живет наукой, он живет философией, он живет искусством. И везде для него прежде всего является важным его собственное “Я”, его личное “Я”. Если там “Я” было физическое, телесное, то теперь это “Я” делается его личным “Я” и он живет жизнью, которая может быть уложена в те или другие эмоциональные переживания, а, стало быть, и в переживания, связанные с мыслью там, где она является в виде науки, философии и т. д. Для него, конечно, жизнь физика является прозябанием, он презирает ее до глубины души, он знает более глубокую жизнь всего человечества, он знает, что перед человеком открываются перспективы в области философии, искусства, познания, он все это учитывает, он создает свою жизнь из элементов своих мыслей и эмоциональных переживаний и он убежден, что про-

блема добра и зла решается в пределах земной жизни, жизни всего человечества. Он полагает, в лучшем случае, что может поставить проблемы о том, как можно достигнуть для человечества лучшей жизни, что нужно бороться за эту лучшую жизнь и из рядов психиков выходят политические деятели, социальные деятели и т. д. Одним словом, большая часть жизни, которая нас окружает, зиждется на деятельности этих психиков.

Еще дальше идет тот, которого мы характеризуем как пневматика. Пневматик смотрит на все это несколько иначе. Он считает, что и жизнь психика есть только прозябание. Как для психика, жизнь физика есть только прозябание, так и для пневматика, жизнь психика есть в свою очередь только прозябание. Он определенно говорит, что проблема добра и зла не решается в пределах земной жизни и жизни индивидуума. Он приводит пример того мальчика у Достоевского, которого затравили собаки. Какое же здесь возможно решение проблемы добра и зла — жил мальчик, затравили его собаки — жизнь кончилась? Это — сплошной диссонанс. Жизнь этого мальчика не жизнь, а кошмар. Такая идея, идея несправедливости, ужаса, имманентного самой жизни, протест против нее, осуждение ее прозвучало и оно звучит и никакие логические силлогизмы, никакие компенсации в области земной не могут разрешить этой проблемы. Ибо мальчик умер, а несправедливость осталась!

Он говорит, что проблему добра и зла, если ее можно разрешить, то только в пределах жизни целой вселенной и в пределах жизни бесконечной. Таким образом, он говорит, что, как телесная форма, так и форма личная есть только форма для изживающей себя индивидуальности, что как нужно стать выше физических интересов, так нужно подняться и над психизмом и над своей личностью, нужно подняться над эгоизмом, нужно подняться к пневматизму, нужно преодолеть всякий эгоизм. Но, что преодолевает эгоизм? Он преодолевается только жертвой. Значит, через жертву мы прихо-

дим к чему то более высокому. Когда мы подходим к этому более высокому, тогда мы можем рассматривать жизнь человечества в ее значимости для жизни всей вселенной.

Однако и сама индивидуальность — дух человека есть только оболочка для скрытой в ней искры Бога, но об этом мы здесь говорить не будем.

Итак, перед нами физик, психик и пневматик. Каждый из них имеет свое представление о пользе и вреде, о добре и зле. Физик базирует себя главным образом в области экономической, психик — в области социально - политической и научно-философской, а пневматик — в религиозной и религиозно - социальной.

Рассматривая общество, как оно есть стационарно, мы видим, что в нем всегда существуют все три категории людей, три породы. Индивидуально, каждый может подняться от одной категории и перейти в другую, но социально эти категории всегда существуют рядом. Поэтому, как в каждом живом человеке, так и в народе есть дух, душа и тело. Все три живут в своих запросах к жизни и каждая культура выявляет свой характер в зависимости от того — какой ответ дает она на эти запросы.

Тогда только и жизнь всех культур, всех народов приобретает для нас характер значимый не только для земли, но и для — как я уже сказал — целой вселенной. Таким образом, перед нами 3 типа людей. Эти 3 типа живут сейчас в разных комбинациях вокруг нас. В массе нас окружающей встречаются люди всех 3-х категорий, а между тем физик никогда не поймет психика, а психик никогда не поймет пневматика. Язык физика понятен психику и язык психика понятен пневматике, но не наоборот. Те слова, которые звучат для физика с определенным смыслом, для психика звучат иначе, а для пневматика еще иначе, и наоборот, если психик говорит что-нибудь, то эти слова физиком понимаются по своему. Этот психизм психика остается абсолютно непонятным физику и точно также пневматизм остается совершенно не доступным для психика. И в этом отношении

очень характерно, что физики, которые да-же прошли проработку, допустим нашей со-временной школы, остались физиками, они чувствуют искреннюю антипатию ко всякой философии, ко всякому философскому тео-ретизированию, говорят о сухой теории, зовут все схоластикой — для них это нечто не существующее. Там, где психик чувствует себя, как рыба в воде, там физик задыхается, и совершенно то же происходит с психиком, когда пневматик развивает перед ним проблему с точки зрения пневматизма. Для психика это нечто туманное, нечто, что говорит о туманных мыслях, о бессмысленном фантазировании. Отдельный человек может подняться от состояния физика к со-стоянию психика и от состояния психика к состоянию пневматика, но для того нужно сделать какое-то напряжение. И вот, когда мы мыслим себя в положении человека, стоящего перед современностью, когда мы задаем этой современности вопрос о том, как же жить, из чего исходить, то чрезвычайно важно самому себе дать ответ прежде всего на то, в какой области мы ставим этот во-прос, что же мы сами из себя представляем, ибо физик задает один вопрос, психик — другой, а пневматик — 3-й. Когда все трое пойдут в историческую экскурсию, то все трое принесут отсюда совершенно разнород-ный материал. Физик принесет описание материальной культуры прошлого века, пси-хик принесет нам, допустим, историю внеш-ней стороны культов, историю философии, историю искусства в тесном смысле этого слова, а пневматик принесет отсюда пробле-мы религиозные, проблемы мистические, как они ставились в те эпохи. Таким обра-зом нам нужно дать себе ответ прежде все-го на этот вопрос. И если мы желаем ста-вить вопрос в полной его широте, то мы са-ми должны прежде всего добраться до ко-нечных горизонтов этого самого пневматиз-ма, ибо тем самым мы включим в себя и горизонты физика и пневматика. Вот, когда с этой точки зрения мы подойдем к исто-рии, то перед нами встанет проблема — что же мы отсюда можем получить для на-стоящего? Ведь в конце концов физик при-

несет только груды разного рода фактов, он скажет, что, допустим, эта колонна сущест-вовала у таких-то народов и т. д.; пси-хик принесет философскую систему исто-рической концепции, или же принесет нам отсюда точку зрения, из которой следует, что у египтян такого-то века происходил социальный переворот, во время которого такие-то исторические идеи играли роль и проявлялись в таких-то формах и т. д. Вот что скажет психик. Он именно разворачи-вает перед нами такую систему. А раз мы знаем уже ценность таких систем, раз мы уже знаем, что в умозаключениях каждой системы есть ответы на вопросы удобства и только, то этим мы удовлетвориться не мо-жем и мы должны подняться куда-то выше и подойти к этой культуре как-то глубже.

Как же пневматик может поставить во-прос обо всех этих культурах? Что для него в этих культурах раскроется? Когда вообще пневматик задает вопросы такого рода, то что для него ценно? Для него не ценна физическая сторона, потому что он считает это только внешним выявлением той или другой жизни. Для него не ценны с этой точки зрения и психические проявления, потому что он считает, что всякая философ-ская система, всякий какой-нибудь стиль в искусстве является выявлением чего-то еще более глубокого. И вот, тогда, пневма-тик ставит вопрос таким образом: он гово-рит, что подобно тому как каждый человек имеет физическую сторону, он имеет также и свою личность, свое эгзистенческое Я, то-чно также он имеет то, что может быть оха-рактеризовано, как индивидуальность, как нечто такое, что поднимается над лично-стью, что превышает эту личность и то, что существует в течении бесконечного време-ни, что существует и является уже в разма-хе целой вселенной. И эту духовную сторо-ну он хочет усмотреть как в окружающих его людях, существах, точно также эту ду-ховную сторону, этот стержень бытия каждо-го существа он ищет и в прошлых эпохах. Но если он остановится на точке зрения их духовного бытия, то и сами культуры перед ним развернутся не в форме груды физиче-ского материала, физических достижений,

не в форме совокупности философских и других систем, которые тогда жили и действовали, а как нечто совершенно цельное, как некая, в свою очередь индивидуальность. Каждая культура с этой точки зрения, является для пневматика совершенно определенной индивидуальностью, которая изживает себя в формах своих психических и физических проявлений, находящихся в прошлом.

Таким образом, для пневматика ставится вопрос такой. Прежде всего нужно определить дух этих прошлых эпох, что это за дух, в чем его сущность? Но ясно, что формулировать этого он не может ни в какой иной системе, ни в описании каких-нибудь физических материалов. Он должен найти какой-то свой язык для того, чтобы в формах этого языка как-то охарактеризовать те достижения и открытия, которые он сделал в отношении прежних эпох. И тогда мы могли бы сказать так, что бытие человечества в истории развертывается перед таким пневматиком как ряд индивидуальностей. Каждая культура есть индивидуальность, каждая живет в свое время и затем уходит в какое-то пространство вселенной, где она будет совершать свое дело, продолжая его, после того, как что-то изжила на земле. Подобно тому, как человек изживает себя в формах физического тела и в формах своей личности, а затем это тело отпадает, его личность растворяется, а его индивидуальность идет в верх, в иные миры, так точно происходит и с человеческими культурами, с эпохами единства человеческого духа. Каждая культура, таким образом, в этом смысле есть некая индивидуальность и имеет свою биографию. Эта культура пришла в мир, пришла на землю, воплотилась здесь в нас, изжила себя и ушла с земли, чтобы продолжать свое существование. Представьте себе муравейник. Представьте себе, что все эти муравьи собрались в одну кучу, как рой пчел, представьте, что эти муравьи стали уменьшаться в несколько десятков тысяч раз, а может быть в несколько миллионов раз. Во что превратится тогда этот муравейник или рой пчел?

Или возьмем наш мозг. В нем существуют клетки и эти клетки, каждая из них живет своей жизнью, а в то-же время через них жизнь проявляется наша собственная жизнь, мы живем через эти клетки, с их помощью мы изживаем себя. Совершенно также можно сказать, что некая индивидуальность изживает себя в муравьях, в пчелах и т. п. Представьте себе, что у нас в руках очутился бы гигантский микроскоп и мы могли бы наш мозг рассматривать через этот микроскоп. Он бы увеличился в миллион раз все клетки и расстояния между ними. Тогда все клетки разбрелись бы в нашем мозгу и расстояние между клеточками было бы в целую версту. В микроскопе мы видим, что каждая клеточка живет своей самостоятельной жизнью, между ними большое расстояние и никакой общей мысли под микроскопом мы не встречаем. И если бы мы рассматривали кусочек мозга другого человека, то мы бы видели жизнь отдельных существ, которые не обладали бы отдельными членами, но это не существенно в этой жизни. Если, значит, муравьи обладают отдельными членами, то это не меняет дела и через них изживается какая-то жизнь, которая проявляется в общих языках, свойственных муравьям, в общей физиологии и психических свойствах, им присущих. Точно также мы должны рассматривать и эти культуры, которые изживают себя через нас и такие культуры, для которых мы являемся клеточками. Но здесь опять-таки имеется новое осложнение. Когда мы живем, когда мы ставим те или иные проблемы, то мы ставим перед собой задачи, связанные с нашей личной жизнью. В конце концов каждый из нас разрешает проблемы только из его личности или из его индивидуальности вытекающие и каждая культура живет какой-то своей жизнью, каждая клеточка живет своей жизнью и тем не менее из этого выливается возможность для проявления еще каких-то других жизней. Точно также, я говорю, происходит и с отдельными культурами. Вот какая то культура, какое-то духовное существо пришло в мир, вот оно воплотилось

в человеческих мыслях, поступках, изживает себя через них и в этом изживании происходит целый ряд фазисов. Подобно тому, как мы сами проходим период детства, возмужалости, старости. Нужно поставить вопрос — что же мы можем делать? Наша эпоха дошла до старости, при чем и здесь мы можем указать чрезвычайно важное отличие между бытием индивидуальным и бытием социальным. Дело в том, что если человек умирает, то его клеточки распадаются. Внешнее разложение в социальном организме происходит не так. Там иногда происходит то, что, когда какая-нибудь духовная индивидуальность изжила себя и ушла, то люди — клеточки не распадаются, а продолжают жить и они могут явиться основой для жизни других духовных индивидуальностей. Например, мы можем указать прежние народы, которые изживали целый ряд подимов культур. Например, те же египтяне. У них были периоды упадка культуры и вновь возрождалась их культура, при чем часто в резко отличных формах сравнительно с теми, которые были изжиты раньше. Что же из этого вытекает? Из этого вытекает следующее. Если это так, то тогда нельзя ли найти тот мост, который бы связал явления и интересы целых культур, целых социальных индивидуальностей с каждой отдельной индивидуальностью, т. е. нельзя ли найти тот мост, который интересы отдельного индивидуума связал бы с интересами целого народа, целой культуры?

Глубокая важность разрешения проблемы о соотношении между индивидуальностью культуры и индивидуальностью человека видна уже из того, что из нее вытекает, как частный случай, и проблема о взаимоотношении между личностью и обществом. Она важна потому, что если это будет возможно, то в этом случае только индивидуальность и совокупность индивидуальностей могут определенно и сознательно воздействовать на жизнь самой культуры, могут строить жизнь этой культуры, могут создавать эту культуру. Проблема ставится таким образом: нет ли возможности указать переходного момента от жизни и интересов

отдельной индивидуальности к жизни и интересам целого народа, целой культуры. Когда я это говорю, как будто бы это звучит несколько банально потому, что когда историк говорит о духе народа, об интересах народа, о его потребностях — это так понятно и естественно и между тем, если вы углубитесь во все то, что обычно понимают историки под духом народа, под духом культуры, вы увидите, что они на самом деле стоят на точке зрения чистого психизма, они создают только те или другие системы и создав такие системы они начинают считать эти системы за выражение духовного существа данного народа, данной культуры. Они с о з д а ю т, стало быть, свои собственные системы, как отражения подлинной действительности и эти отражения в кривых зеркалах их пониманий, они считают за самую действительность. Поэтому, на самом деле, мы видим, что в конце концов, в каждой системе, а стало быть, в ее творце можно найти те, очень часто и высокого порядка, побудительные причины, которые привели именно к созданию такой системы, а не другой; мы часто можем видеть, как люди впадают в целый ряд тушиков, из которых нельзя выйти и мы знаем, что историческая наука начинает разочаровываться, ибо она разочаровалась в возможности решить проблему именно таким путем. И с теперешней нашей точки зрения ясно, что тут дело вовсе не в том, чтобы разрешить проблему, разрешить так, как ее ставят историки, а дело в том, чтобы сами историки смогли бы себя воспитать до пневматической точки зрения. Вся беда в том, что они, стоя на точке зрения психизма, не в состоянии разрешить пневматической проблемы. Для психика, подняться к пневматизму можно только путем известного напряжения, путем известного самовоспитания и тогда если мы, таким образом, стали на точку зрения этого самого воспитания, если мы воспитаем себя до этого пневматизма и затем, если мы попытаемся разрешить проблему об единстве, о возможном единстве интересов отдельных индивидуальностей и интересов целой культуры, то уже с указан-

ной точки зрения, каким образом представится разрешение этой проблемы? Разрешение ее представится таким образом. Если каждая культура есть известная индивидуальность, если она жила своей собственной жизнью, имела свои собственные достижения, то ведь эти достижения были человеческими достижениями. Если я, как человек, ставлю сейчас проблему — как попытаться поднять человечество на какую то более высокую ступень чем та, которая была, я должен сказать, что если по отношению к окружающим людям я должен говорить: “Я человек и ничто человеческое мне не чуждо”, то и по отношению к эпохам, к культурам, я должен сказать, что “я человек и ни одна человеческая культура не должна оставаться для меня чуждой”. Если я смогу, таким образом впитать в себя духовное содержание этих культур, если я смогу осознать их духовный стержень, духовное зерно и если я смогу, исходя из этого внутреннего зерна, раскрыть духовную культуру и все ее проявления, как совершенно естественное проявление определенных индивидуальностей, то в таком случае я действительно найду те источники, живые источники любой культуры, которые дадут мне материал для разрешения проблемы современности. Я должен так подойти ко всем известным культурам, чтобы найти в них это зерно духовного начала и затем посмотреть, как оно изживает себя в современности. Применяя это к настоящему, я могу сказать, что наша современность дошла, собственно, до такой степени развития, что дальше она или начнет пятиться назад, или будет топтаться на месте.

Для того, чтобы нашлась сила, которая вырвала бы нашу культуру из этого состояния и открыла какие то новые неведомые горизонты, нужно чтобы мы дали отчет в тех возможностях, которые стоят перед человеческой душой и тогда вся проблема сведется к следующему. Отдельный человек, испытав все эти культуры, впитав их в себя, поставил перед собой проблему этих культур в настоящем, видит настоящую культуру только как одну из чрез-

вычайно большого количества культур и, если-б даже в прошлом не было культур, стоявших выше нашей, если бы даже этого не было, то все равно, испытав, таким образом, все человеческие достижения, он уже духовным путем мог бы открыть значимость этих достижений во вселенском масштабе и тогда из этого масштаба перед ним встали бы те проблемы, которые оказались бы проблемами Преображения. Вы видите, что каждое начало новой культуры начинается со стройного сопрокосновения со вселенским, вы видите затем их изживание в каких то неведомых ранее образах. Отсюда те мифологические формы, в которых и через которые соприкасается человек со вселенским.

Мифология несет в себе как бы следы этого соприкосновения и в конце концов, если мы поставим вопрос, в каких же формах пневматик может формулировать свои достижения, то мы получим ответ, что этой формой является форма мифа, форма легенды, форма сказания, форма того образа, который начинает жить и проявлять себя уже в действительной жизни. Поэтому создание этого образа, мифотворчество — вот то, что стоит как задача перед пневматиком.

Возвращаясь к поставленному ранее вопросу, мы можем теперь дать на него ответ: культура измеряется степенью любви и мудрости в свободе. Культура включает в себе элемент телесный, душевный и духовный. Культура есть гармония в потребностях и их удовлетворении во всех этих отношениях.

Поставив такое определение и вместе с тем требование по отношению к культуре вообще, мы можем и даже проследить выводы из этих определений. Но нетрудно видеть, что наше определение культуры шире обычного, ибо включает в себя и область пневматическую, т. е. мистику, поскольку последняя хочет и может стать общечеловеческой, иными словами, мы включаем в понятие культуры — религию, культуру в тесном смысле слова и цивилизацию.

Если мы теперь условимся называть культуру в нашем расширенном понимании, социальной индивидуальностью и за словом

культура оставим его прежнее значение, то все предыдущее можно формулировать так: некоторая социальная индивидуальность воплощается в определенную эпоху на земле и живет известное время. Ее духовная действительность проявляется в религии, ее действительность душевная в культуре и ее действительность физическая — в цивилизации народов данной эпохи — отвечающей времени жизни самой социальной индивидуальности. Другими словами, религия данной эпохи есть проявление индивидуальности, культура — личности и цивилизация — тела ее. С этой точки зрения был прав Гегель, ибо вся его метафизика в общем излагает историю жизни такой социальной индивидуальности и его абсолютный дух есть один из многих в обществе себе подобных социальных индивидуальностей.

Раз мы станем на такую точку зрения, то естественно возникает вопрос — в каком же отношении находятся между собою конкретные социальные индивидуальности?

Чтобы ответить на этот основной для нас вопрос, достаточно взглянуть на то, как происходит взаимодействие между субъектом и объектом воплощения в случае индивидуальности человеческой. В последнем случае дело происходит так, что субъект воплощения всегда принужден действовать в формах объекта воплощения. Воля субъекта воплощения может проявиться только и только при непременно условии соблюдения абсолютной свободы воли объекта воплощения. Так, душа может действовать тем только путем, какой ей указывают законы тела, воля тела и физико-материального мира. Аналогично, дух может действовать и душевном мире только по законам душевного мира. Поэтому воля социальной индивидуальности тождественна с волей человеческих индивидуальностей, ее религия есть религия людей, ее культура есть культура людей и ее цивилизация есть цивилизация людей. Человеческая индивидуальность волит и поскольку она сама волит, как таковая. — эта воля и делается волей социальной индивидуальности. Есть ли у социальной индивидуальности своя, только ей

приусущая воля? Да, конечно! Но эта, только ей приусущая воля или проявится в жизни или не проявится. Она проявится в тот момент, когда найдется ей тождественная человеческая воля и она не проявится, если такой воли не найдется. Свободна воля каждой человеческой индивидуальности, но свободна воля и индивидуальности социальной. Поэтому никогда человек не может стать средством для чего либо стоящего вне его, но он становится средством для другой индивидуальности, если воля его становится и волей человека. Но в последнем случае и сама социальная индивидуальность делается средством для человека. Раз так, то в этом они находят и обоюдную цель — в гармонии своих свобод.

Человек, даже целый народ может противопоставить свою волю воле социальной индивидуальности или согласовать ее с ней. В том и в другом случае результат определится соотношением сил.

Однако наибольшую мощь и степень достижений получает человек, если он идет в союзе с социальной индивидуальностью и обратно, то же можно сказать и о социальной индивидуальности.

При этом не надо думать, что всякая социальная индивидуальность всецело добра и что не следует никогда восставать против нее. Нет, свободно морально-этическое самопределение человека и таково же у социальной индивидуальности и бывает, что один человек стоит морально выше, соответствующей социальной индивидуальности, он объявляет ей войну и гибнет или побеждает в зависимости от условий и соотношения сил.

Даже больше, люди могут совокупностью своих согласных волей призвать к воплощению ту или другую социальную индивидуальность. Правда, до известной степени, ибо степень эта определяется степенью высоты самих согласных волей и если эти воли настолько мощны, что создают хорею, то они вовлекают в нее социальные индивидуальности высоких порядков. Тем не менее бывают моменты, когда все же мощи этих волей недостаточно и тогда на помощь

к ним может явиться существо еще более высоких ступеней бытия, как это было в случаях Будды, Моисея, Христа, Кришны, Зароастра, Манеса, Лаоцзы и т. п.

Так или иначе, но в основе рождения, воплощения социальной индивидуальности лежит напряжение согласных человеческих волей. Может случиться и так, что уже воплотившаяся социальная индивидуальность впоследствии сама становится выше и совершенней в процессе ее жизни, под влиянием индивидуального воплощения в человеке существ вышеупомянутой категории, но может быть и наоборот — социальная индивидуальность падает, становится морально худшей.

С этой точки зрения чрезвычайно важно изучение прошлых социальных индивидуальностей — Египта, Индии, Греции, Китая, Рима, Атлантиды и т. п.

Везде и всюду пневматики действовали в формах тайных братств, союзов, орденов. Психики — путем социально - политических учреждений, а физики путем экономики и быта.

В среде пневматиков начинается зерно общечеловеческой хорей. Появляется новая религия — возникают мифы и мистерии. Хорей разворачивается и охватывает психиков — создавая революции, восстания, философские системы, новое искусство, мораль, науку и новые учреждения. Отсюда движение переходит в массы, реорганизует быт и экономику, нравы, жизнь народов.

Поднять до духовности все человечество — такова задача. Поэтому внутренним устремлением всякой социальной индивидуальности должно быть стремление к осуществ-

влению полной свободы, которая в трех областях сознания формулируется, как борьба за Акратию, Анархию и Коммунизм против Церкви, Государства и Собственности, как борьба за Синакратию.

Таким образом степень высоты каждой социальной индивидуальности определяется степенью ее приближения к Синакратии.

И когда мы ставим вопрос о нашей эпохе, то перед нами встает наш моральный долг — влить нашу волю в согласные воли, стремящихся к Синакратии, принять участие в творящей — закликающей хорее тех, кто своими делами и поступками стремится воплотить на земле свободную гармонию воли, призывая новую религию и подготавливая ее приход.

Наша задача быть провозвестниками новой религии — религии Свободы и Духа, Параклета, Утешителя... Наша задача — сделать свободными людей, чтобы высочайшая социальная индивидуальность могла воплотиться среди человечества, чтобы любовь, мудрость и красота осенили свободных людей.

Пусть же примеры прошлых веков помогут нам и научат нас избегать их ошибок и познавать наши силы, чтобы в борьбе за Свободу мы достигли бы Мощи и одолели бы мрак и насилие, парящие над землей.

Пусть возродится через нас все прекрасное, что было в прошлом, чтобы мы могли достигнуть еще более прекрасного и настоящего, чтобы лучи Эона Истины - Параклета засверкали над землей и просвятили своим блеском свет тихий любви, мудрости, свободы и красоты.

А. А. СОЛОНОВИЧ.

М. А. ИСТОЧНИКОВ.

Философия Ницше

(ОЧЕРК)

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Приступая к изложению философии Ницше, я отнюдь не собираюсь дать исчерпывающий очерк его, в высшей степени, сложной и многогранной философской системы; я намерен в кратких чертах познакомить читателя с социальными и этическими проблемами его философии и главным образом с его критикой современной морали и проповедью новой — морали «сверх-человека».

Так как мое мнение о философии Ницше резко расходится со всеми установившимися взглядами и понятиями, то во избежание могущих возникнуть упреков в том, что я уклоняюсь от основного учения самого Ницше и толкую его по своему, я подтверждаю мои выводы цитатами из произведений нашего философа. Этим я, так сказать, заставляю Ницше говорить самого за себя.

Что же касается художественной стороны, его стиля, то я почти и не буду касаться. Этих неоценимых заслуг Ницше перед немецкой литературой — гибкости оборотов речи и красот образов, ставших достоянием всего культурного мира, — никто и никогда за Ницше не отрицал. Да и все что писалось о нем, всегда имело дело исключительно с художественной стороной его творчества. Но Ницше еще не изучен с социальной и этической стороны жизни, а поэтому я ими и займусь.

ВВЕДЕНИЕ.

Одним из властителей дум современности является, несомненно, Фридрих Ницше.

Сочинения Ницше читаются не только в Германии (родине философа), но и везде в других странах. Литература о Ницше и его философии растет не по дням, а по часам.

В современную культуру и философию

идеи Ницше вошли как основной элемент. Уже прошли те времена, когда Ницше встречали как иезуита, когда по адресу его сыпалась, как из мешка, низкая и непристойная площадная брань и выливались целые ушатые помоев, когда не критиковали его и не изучали, а возмущались и пугали им. Его отрицали огульно и не считались с ним, как с человеком. Все претендующее на звание образованности и учености, со всей свойственной ему догматичностью, узостью и стадной злобностью, со всей пресмыкающейся завистью безсилия, восстало против него. Известный сионист Макс Нордау пишет следующее по адресу Ницше: «Для систематизации гадости и человеческих отбросов, возвеличенных при помощи чернил, красок и звуков парнасцами и эстетиками, для синтеза преступления, нечистот и болезни, превознесенных представителями демонизма и декаденства, для создания «свободного и цельного человека» по образцу Ибсена, нужен был теоретик, и такую теорию или выдающую себя за таковую провозгласил впервые Ницше.»

Оценку свою резюмирует он следующими словами: «История философии не знает, кажется, другого примера, когда-бы такие глупые шуточки и такую дикость выдавали за философию, больше того — за глубокую философию.»

Даже такой, пользующийся репутацией «незапятнанного», как Вл. Соловьев, и тот не остановился перед грубостью, выраженной в таких словах, как: «Преподавать о «сверх-человеке»... «сверх-философу» Ницше, было, решительно нечего. Вся его проповедь сводится к одним словесным украшениям, прекрасным по литературной форме, но лишенным всякого действительного содержания, и что, сочиненный несчастным Ницше и им самим нравственно изbleванный «сверх-человек» представляет,

быть может прообраз ... грядущего Анти-христа."

Вся эта ученая чернь, метко пораженная Ницше в самое сердце, чувствуя свое бессилие и бездарность возражать по существу, переполненная злом и завистью, превратилась в стоголовую гидру и начала извергать такими словами: "систематик гадости и отбросов", "отрицающий культуру инник", "проповедующий распущенность гедонист с оригинально скотскими мыслями", "Цезарь Борджиа" и т. д.

Если кто-либо после чтения подобной "критики" заглянет в подлинные труды самого Ницше, тот не может не сказать вместе с М. П. Неведомским — "Что-же это? Как будто совсем не то, как будто ничего об нем у критика и не сказано?.. Одна страница кажется богаче, полнее всей статьи критика, даже не так звучит и иначе воспринимается."

Думается что таково впечатление каждого честного читателя, читающего критику и подлинник Ницше. Но все это ушло, улетучилось, и учение Ницше, временно покрытое грязной скорлупой грубого непонимания или пристрастия, скорлупой временного забвения, — откапывается; очищается вся накипь, заслоняющая мысли его от неопытного читателя.

Однако, это только одна сторона судьбы мыслителя, — сторона, представленная врагами. У Ницше есть еще и поклонники, несущие слепой восторг, обожание и поклонение каждому слову учителя. Будучи отшельником и независимым всю жизнь, Ницше сторонился от липких похвал толпы, и к его несчастью оказалось, что именно толпа и подошла вплотную к его учению. Остроумные и глубокие мысли Ницше попали на базар и толкучку, где всякий проходивший острил ими без всякого смысла и понятия. Аристократичность потеряла свое величие и благородство, вдохновение и глубина превратились в подражание и банальность, кровавые муки духовного творчества стали пошлой игрой слов и капризом. Ницше был исковеркан, опошлен, сочинения его провалились

вместе с лубочными романами и сказками. Огульное презрение и ненависть сменились огульным же поклонением. Но и эта туча в прошлом: на горизонте Ницше постепенно проясняется.

Философия Ницше попала, наконец, в надежные руки мыслителей и философов, серьезно и усердно принявшихся изучать его философию. И результаты дали о себе знать. Появились капитальные труды, посвященные философии Ницше.

Нужно отдать справедливость первым смельчакам, дерзнувшим протянуть свою руку отошедшему в область забвения Ницше и решившимся нарушить предвзятое мнение о нем, царившее одно время во всем ученом мире. Такими смельчаками оказались: критик Георг Брандес, профессора по философии — Анри Лихтенбехе, проф. университета в Нанси ("Философия Ницше"), Ганс Файгингер, профессор философии в Галле ("Ницше как философ") и профессор философии в Киле (Алоис Риль ("Фр. Ницше, как художник и мыслитель"). Они первые отказались от царившего в то время презрения по отношению к Ницше. Из русских имен следует указать на проф. Евг. Трубецкого ("Философия Ницше") и проф. Московского Университета Хвостова ("Этюды по современной этике").

В центре современной культурной философской мысли стоит, несомненно, Ницше. Достаточно указать хотя бы на такие труды как "Философия XX столетия в Германии" Р. Мюллер-Фрейенфельс или "Философия Жизни" Генриха Риккерта, только убеждающие в сказанном. И Ницше не ошибся в предчувствиях, когда говорил: "придет время, когда специально выделены будут кафедры для изучения моего "Заратустры."

Да! Предсказания его на пути к осуществлению.

Ницше создал особое течение в этике, философии жизни и культуре. Сейчас вы не встретите ни одного серьезного труда в самых разнообразных отраслях человеческого знания, где бы не встречалось

ния Ницше. Вы встретите его и в трактатах о музыке, и в статьях о живописи и поэзии, и в трудах по истории литературы, филологии, морали и религии, психологии и гносеологической философии воспитания. А все это мир культуры.

Из всего выше сказанного видно, насколько Ницше был индивидуальностью сложной и многогранной, соприкасавшейся с самыми разнообразными сторонами человеческой жизни, оказавшей на все глубокое влияние. Он наложил печать на всю творческую мысль современности и это факт неоспоримый; громадная литература о нем доказательство этому. Однако, несмотря на "необозримость" этой литературы, несмотря на точное изучение его жизни и путей какими он шел, все же остается под вопросом, удалось ли кому-нибудь проникнуть в тайны мудрости и философии его, постиг ли кто-нибудь чего именно хотел Ницше и какова была задача его жизни. "Мы не знаем, пишет д-р философии Полонский, что от Ницше упало в поток ненужного и бесцельного, как дань времени и что перешло, как загадка и тайный смысл жизни его, в другие грядущие времена, и на чем оборвался его гений."

Мне кажется, что эта трудность и неуловимость основной идеи философии Ницше заключается в том, что на него смотрели, как на мыслителя и философа определенного времени. Так отчасти думал о себе и сам Ницше. Он сам не мог с точностью определить того места, которое суждено ему занять в галлее величайших мыслителей всех времен и народов; он знал только что ему принадлежит первое место среди первых. И это, повторяю, потому, что он считался мыслителем своего времени, а философия его отражением декаданса современной культуры.

Хотя Ницше думал и утверждал, что он философ жизни и только на земле и земной, все-же в поисках за истиной, которая будет присуща сверх-человеку, в поисках той подлинной жизни, какую будет жить сверх-человечество, он незаметно для се-

бя вышел за пределы земной жизни, по ту сторону. Ницше пошел в подлинную жизнь, но никем непостижимую — космическую жизнь, в бытие вне времени и пространства, вечного становления во времени и пространстве и там как бы растворился. Он искал реального смысла в жизни и в поисках за этой реальностью перешел, как я указал, за пределы этой временной земной жизни, в жизнь беспредельную, космическую и, как бы воплотившись в ней, говорил устами ее и от имени ее, он говорил тогда к человечеству языком самой природы и вечности. Отсюда и вытекает его аморализм. Природа аморальна, она не признает никаких писанных законов, она сама закон и не закон, она сурова, безжалостна и жестока, но она же дарит и высшее счастье.

Ход мировой истории не знает никаких преград и на пути своем уничтожает все слабое и неспособное сопротивляться. Ницше хотел основать мораль на естественных законах природы. Но он непостижимо глубок, как психолог и неслыханно честен, как педагог и моралист, и поэтому он не поверил своим гениальным мыслям и подверг их испытанию и критике, как бы перевоплотился в эту могущую возникнуть новую жизнь на началах им же указанных, начал переживать ее и изучать "макрокосм" (этот великий новый мир) в "микрокосме", в жизни своей души. Плод этих испытаний и есть знаменитая книга "Так говорил Заратустра." Ницше продумал эту новую жизнь, проанализировал до конца и увидел, что это только идеал. И перед ним открылась непроходимая пропасть между хотением и возможностью. Он увидел, что "сверх-человек" лишь полет мысли, желание, а толпа это возможность и реальность. Пропать перед ним все росла и углублялась и со свойственной Ницше чувствительностью им овладели страх и чувство пустоты. Мировой хаос предстал перед его взором во всей своей наготе и холодный пот выступил на челе его: на этом и оборвалась его мистическая поэма "Так говорил За-

ратустра.“ Он поднялся на такую высоту, что дальше идти в этом направлении, выше подыматься некуда и сверх-человек, дойдя до апогея, должен умереть, должен был бы умереть и Заратустра, если бы поэма о нем была закончена. Здесь, как я указал, Ницше понял, что сверх-человек, лишь полет мысли, желание и идеал, а реальность толпа и невозможность. Он увидел отсутствие в мире всякого смысла и порядка, отсутствие цели. Существует только хаос и случайная игра явлений и какое то неопределенное стремление мировой и индивидуальной воли. (Здесь Ницше близок Шопенгауэру). Будучи натурой хотящей (“волящей”), Ницше не может перенести своего существования вне хотения. “Лучше хотеть чего либо, пишет он, чем ничего не хотеть.“ Но чего хотеть, вот вопрос. Чем заполнить пустоту души? Стремиться к сверх-человеку до безконечности? Но какой же смысл в этом? Какова цель в стремлении к совершенству? Почему именно к сверх-человечеству и совершенству? Почему не к обратному? Прямого ответа на эти вопросы Ницше уклонялся давать, ибо этим он вступил бы открыто в область метафизики и мистики, против которых он теоретически боролся всю жизнь. И с великим ужасом заполняет ее старыми вещами, но для облегчения страдания души своей дает им новые названия. Стремление к подлинной жизни, — мистический пессимизм, он называет волей к жизни и познание тайн космических, — метафизику, “вечным возвращением.“ Он принимает жизнь так, как она есть, со всеми ее атрибутами. “Я люблю тебя, жизнь, какова бы ты ни была: данная мне в вечности, ты претворяешься в радость и желание непрестанного возвращения твоего, ибо я люблю тебя, вечность, благословенно кольцо колец, кольцо возвращения, обручившее меня с тобой.“

Здесь Ницше приближается к древне-индийскому мистическому знаку, эмблема которого — изображение змеи, кусающей свой хвост.

Приняв жизнь, т. е. всю жизнь, бытие таковой, какой она есть, он признает и все иллюзии души человеческой, отрицая в них лишь то, что вредит как физическому, так и духовному развитию и совершенству рода человеческого и полноте жизни. Следовательно, новая мораль, проповедуемая Ницше, пройдя сквозь призму самокритики, очистилась и стала ясна, как кристалл, она не цель, требующая жертв на подобие современной морали, а средство к улучшению человечества.

Новая мораль Ницше есть воплощение синтеза эллинского аристократического творческого духа с древне-индийской философией, она есть воплощение сильного тела и сильного духа в одну сильную единицу — личность человека и этот путь к сверх-человеку через “вечное возвращение.“

ЛИЧНОСТЬ НИЦШЕ

Фридрих Ницше — сын протестантского священника, родился 15 октября 1844 года в Рекене, где отец его был пастором. На пятом году своей жизни Ницше лишился отца. Первое образование он получил в Паумбурге, куда в 1850 году переехала его мать. Затем он поступил в знаменитую школу в Пфорте близ Паумбурга; школа эта была и есть настоящей подготовительной школой для филологов, совмещая в своей программе добрую часть университетских курсов обыкновенных студентов, посвятивших себя филологии. Насколько высоко стояла школа в отношении своей программы, можно заключить из того, что на первом плане мы находим чтение древних классических произведений, рекомендуется также и домашнее чтение. Наряду с усовершенствованием родного языка, ученики вырабатывают и литературный латинский. Каждый ученик должен был оставлять заключительную работу в заведении в память о себе, свидетельство как о формальных, так и реальных достижениях и качествах ученика. Высоким требованиям курса соответствовали и учителя, бывшие во время Ницше; такие зна-

менности в области филологии, как Шейнгарт, Корссен, Кейль и Петер, могущие быть украшением любой профессорской кафедры.

Таким образом Ницше, еще будучи гимназистом, уже проникся духом античности. Будучи 15 летним юношей, он уже зачитывался и увлекался личностью Александра Великого. По окончании школы, Ницше поступает на богословский факультет, а на следующий год на филологический в Бонне; затем он, вслед за своим знаменитым учителем Ричлем, перешел в Лейпцигский Университет. В 1869 году, еще не окончив курса, Ницше был уже приглашен, по рекомендации Ричля, на кафедру в Базель, в том же году Лейпцигский Университет без испытания и диссертации послал юному профессору диплом доктора филологии. Ему было тогда всего 24 года. С 1869 по 1879 г., в течение десяти лет, Ницше был профессором базельского университета, честно и аккуратно выполняя возложенные на него обязанности. Все свободное время от классных занятий он посвящает научным и философским трудам.

Главной причиной, расстроившей здоровье Ницше, была война 1871 года, в которой Ницше принял участие в качестве волонтера, после чего он серьезно заболел и возвратился домой. С тех пор он стал страдать сильными головными болями и спазмами желудка. Осложнение болезни заставило его в 1867 году отказаться от занятий в Базельской педагогической семинарии, где он преподавал греческий и латинский языки. Но болезнь все осложнялась и страдания увеличивались и дошли до такой степени, что в 1879 году он вынужден был отказаться от всякой общественной деятельности, в том числе и от профессуры. "Когда в 1878 году Ницше увиделся с сестрой, пишет проф. Риль, — его нельзя было узнать — перед ней стоял разбитый, усталый, стареющийся человек, который с глубоким волнением протягивал ей руку." "Меня давит тяжкое, очень тяжкое бремя: — пишет он в 1880

году, за последний год у меня было 118 тяжелых припадков, я еще жил, но не видел дальше трех шагов перед собой."

Из писем к знакомым и друзьям видно, что страдания его достигли высшего напряжения, им овладевает отчаяние и теряется надежда; он прощается со всеми близкими. В письме к г-же фон-Мейденберг, Ницше пишет: "Ужасное и почти непрерывное мученичество моей жизни заставляет меня жаждать конца, и, судя по некоторым признакам, спасительный мозговой удар достаточно близок, чтобы можно было надеяться. Что касается мук и лишений, то жизнь моя за последние годы может выдержать сопоставление с жизнью какого бы то ни было аскета в любую эпоху. Я полагаю, что выполнил дело своей жизни, правда, выполнил его как человек, которому не дано было срока."

С осложнением болезни ухудшается и болезнь глаз. В одном письме он жалуется: "О, глаза, не знаю, что и предпринять — они прямо насильно удерживают меня от науки."

В 1882 году Ницше почувствовал себя совершенно здоровым, он решил посвятить 10 лет на изучение естественных наук, в которых он чувствовал пробел, но сбыться этому не суждено было. На следующий год болезнь опять возобновилась и усилилась. Болезнь разразилась в ужасную трагедию великого философа и мыслителя. Сильный дух не выдержал. В 1889 году в январе, неожиданно прорвалось безумие: Ницше сошел с ума. Уже будучи больным, Ницше прожил 11 лет, сначала в больнице проф. Бисвангера, после у матери, а по смерти ее, с 1897 года, у сестры, в Веймаре, где и скончался 25 августа 1900 года.

Сочинения свои Ницше писал с перерывами, в минуты, свободные от головных болей, а во многих случаях с головной, отягченной этими болями.

Ясно, что по причине болезни Ницше писал афоризмами и выражался так сильно и резко. Это все плод его мученической жизни, одиночества и той не-

оправданной отчужденности, с какой отнеслись к нему при его жизни. В одном письме к Р. фон Зенцу в феврале 1888 года он жалуется на то, что его весь мир позабыл. "Так редко, пишет он, до меня доходит дружеский голос. Я один до абсурда один — что то затерявшееся, чего нельзя найти даже, если нарочно отправиться в поиски за ним. Но никому и не приходит в голову отправиться искать... Годами — никакого бальзама, ни капли человечности, ни одного дыхания любви."

За дерзость и резкость он признает себя виновным и просит не обращаться серьезного на это внимания, оказавшись в таком исключительном положении "писатель невольно повышает свой тон, как протест против стадного и низкого отношения к нему." (Проф. Риль).

По духу Ницше типичнейший аристократ. Еще в детстве в нем выявляются серьезность, мягкость и утонченность вкуса, склонного ко всему изящному и прекрасному, даже в этикете он неподражаемый эстет. Дух честности, благородства и величия, чувства долга и ответственности перед самим собой за свои поступки, самообладание, самодисциплина, вот основные черты его характера. Однако, все это не мешало Ницше в обращениях с людьми быть вежливым и отзывчивым, без всякой натянутости и пафоса, он держал себя всегда спокойно, с безукоризненной любезностью. Все знавшие и видевшие его не могли не удивляться и не восхищаться честной и благороднейшей манерой его характера. Этого он требовал и от других. Ницше был личностью необычайно сложной и утонченной. Он не только мыслитель, философ и поэт, но и художник и музыкант. Он может быть самый тонкий и глубокий, какого мир еще не знал, психолог, у него действительно была какая-то особая специфическая способность проникать в душу человеческую. В "Ессе Homo" он пишет так о себе: "Я одарен впечатлительностью, которая положительно беспокоит меня, в смысле чистоты внутренней, так что всякая душа или — как сказать

мне? — ее внутренность, глубина физиологически мне видна, я чувствую их ... благодаря этой впечатлительности, я обладаю как бы психологическими рожками, при помощи которых я могу щупать и открывать всякого рода тайны. И вся гниль скрытая, которая таится во многих натурах, происходя может быть от заражения крови, но замаскированная воспитанием, от первого соприкосновения открывается мне."

Сейчас ясно, почему Ницше с такой силой восстал против современной морали — справедливости, добродетели и сострадания. Во всем этом он видел величайший обман и нечестность со стороны лиц, проповедующих и сознательно поддерживающих эту лже-мораль. В ней он видел ту маску, под которой скрывается зависть и нажива, маску, в которую облеклись личности, стремящиеся к удовлетворению личной похоти. Самым отвратительным Ницше считал лицемерие. Оно возмущало его до глубины души, он хотел, чтобы каждый человек открыто говорил чего он хочет, чтобы поступали так, как говорят и проповедают; дальше, чтобы даже не проведывали для других, а для самих себя.

Неудивительно, что все восставшие против него оказались не читающие его и не изучающие, а просто огульно отрицающие Ницше одной фразой: "Он больной и сумасшедший", а также те, которые торгуют моралью оптом и в розницу, те, которые продают свою совесть и честь за деньги. Среди них нет ни одного порядочного человека, честно соблюдающего то, чему учит других. Все это пресмыкающиеся без всякого принципа, за хорошее вознаграждение распинающиеся по углам и проповедующие по заказу — о любви, справедливости, о сострадании, о боге.

Интересны эти проповедники царства небесного, уничтожающие по четверти вола в день.

(Продолжение следует)

М. А. ИСТОЧНИКОВ.

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

ЗАГАДКИ ЖИЗНИ

(Окончание)

Тем же самым законам подчинены одноклеточные и многоклеточные животные, т. е. они должны не только иметь достаточно минеральной пищи, но таковая должна быть в правильной пропорции. Поэтому, когда мы рассматриваем только опыты над оплодотворением яичка, они кажутся многозначительными, но из них выработался следующий основной закон: "Нормальная жизнь возможна лишь при комбинации в определенном соотношении необходимых солей с казалопами живой материи."

Наконец, имеются еще два другие свойства у живой материи: дыхание и раздражимость, для определения которых часто требуется особый аппарат, но которые так же важны, как и другие свойства. Все живое дышит и потребляет кислород, освобождает энергию и отдает углерод. Это очевидно на примере человека, но совсем незаметно на картофеле: но ванустите много воды в грядки картофеля, и картофелины потонут на смерть, как и человек. Два зернышка пшеницы, положенные рядом, кажутся одинаковыми, но одно живо и будет расти, если его посадить в подходящую почву, другое же — мертво и расти никак не будет. Оба зернышка эти, помещенные в камеру биометра, покажут несомненную разницу в количестве выпуска углерода.

Оба зерна — и мертвое и живое — выпускают углерод, но только в разном количестве. Кроме того, живые клетки заметно отличаются от мертвых тем, что первые способны раздражаться. Уколите человека булавкой. Наверное он подпрыгнет и воскликнет: "Ой!", а то употребит и более сильные выражения. Уколите живое зерно, и оно также прыгнет и скажет: "Ой!", но на особом языке, который можно разлы-

шать и перевести посредством биометра. Оно выдает больше углерода.

Это верно по отношению ко всем клеточкам и, даже, к клеточкам в нервах, хотя многие полагают, что нервы достают их энергию из другого источника, нежели из переработанной пищи. Эти свойства: выпуск углерода и раздражимость, так общи, что о них говорят, как о "химических признаках жизни." Проследив этот обмен газами высших животных, возможно определить — сгорают ли в них углеводы, жиры или белки, и переменяется какой либо один из них в другой.

В течение многих лет эти трансформации объяснялись заявлением, что эта была "деятельность клеточки." Но усовершенствованные химические и биологические методы дали возможность сорвать покров с клеточки и выделить некоторые машины (средства), посредством которых действует жизнь. Многие ученые теперь заняты изучением этих машин — "энзим" (enzymes). Сначала делались попытки извлечь очищенный продукт, но так как у нас нет критерия для определения "чистоты", и, кроме того, крайнее непостоянство продукта, — работа эта в высшей степени затруднительна. Поэтому прилагаются все усилия комбинирования (химического синтеза) "энзим", дабы узнать законы управляющие их деятельностью. Уже сделаны кое какие успехи: Озлер произвел искусственный "oxidase" (окисляющее вещество), Фалько — "lipase" (разлагает жиры). Химический синтез и контроль над искусственными "энзимами" революционизируют науку и искусство органического синтеза. Это может сделать возможным контролирование или лечение патологических состояний в человеческом организме.

Весь механизм пищеварения зависит от "энзимов". Когда они испортятся вследствие болезни, не будет ли возможно заместить их выработанными в лаборатории "энзимами"? Это уже делается в случаях с больными диабетом (сахарной болезнью), которые теряют способность окислять сахар. Им дается инсулин, который замещает продукт, уже не могущий быть перерабатываемым, и несчастные люди спасаются таким образом от живой смерти. Сахарная свекловица, посредством своих листьев, собирает углерод и кинетическую энергию, а посредством корней она всасывает воду. В клеточке они превращаются в сырой сахар. Возможно, что в будущем сахарная фабрика будет местом, где углерод извести при содействии каталитических посредников скомбинируется с водой, произведя, таким образом, раствор formaldehyde (формалин), который, стувшившись, даст сахар?

Произведя химический синтез над углеводами, почему не проделать этого над жирами и, наконец, над протенином, сделав лабораторию вместо поля, источником пищи для человека? Я допускаю, что это только плод воображения и представляется теперь фантазией; но мы должны помнить, что химически произведенная красная и иногда — голубая краски заменили натуральные продукты растений марены и индиго. Камфора получается уже не только из камфорного дерева. Химически произведенные духи разрушают цветочную промышленность в Италии и во Франции. Каким заменен синтетическим продуктом — прокаином, который обладает всеми анестетическими свойствами натурального продукта, но лишен его ядовитости. Продукты химического синтеза обещают совершить по отношению к воспалению легких, туберкулеза и рака то, что сальварсан и хинин творят в случаях сифилиса и лихорадки. Сегодня делается возможным синтетическим способом победить страшную заразу — проказу. Требуется богатое воображение, чтобы только сделать очерк возможностям будущего.

Мы видим, как обильна жатва от изучения функций живой клеточки; не менее

интересным и вознаграждающим было изучение и структуры ее. Всеми признается, что едва-ли найдется два совершенно одинаковых человека. Скотовод сообщит нам, что у него нет ни одной пары одинаковых животных; пастух овец, — что у него одинаковых овец; ботаник, — что нет двух одинаковых листков или стебельков травы; а теперь, биолог заявляет, что протенины, составляющие наши ткани, различны от протенинов в тканях других личностей. Наша индивидуальность исходит к каждой индивидуальной клеточке. Правда, все клеточки составлены из тех же amino-кислот, но только последние распределены в различных комбинациях.

Можно ли произвести достаточно различных протенинов для всех из девятнадцати аминокислот? Вычислит теоретическое число перестановок и комбинаций, мы найдем, что будет не меньше двух миллионов миллиардов различных протенинов. Когда поток жизни течет в живых клеточках, протенины держатся в известной подвижной позиции, но когда наступает смерть, они возвращаются к покою.

При изучении живой клеточки получается впечатление порядка, соотношения, плавного и согласованного пути во всех взаимодействиях живой клеточки, совсем непохоже на многие раздражительные методы человека. Один пример пояснит это. Человек достает азот посредством гигантской дуговой свечи в трубе, через которую проходит струя горячего воздуха. Пылающий диск имеет в диаметре семь футов и накаляется до температуры 6500 гр. Ф. Получаемый продукт, растворенный в воде, дает нам азотную кислоту. В другом методе, воздух охлаждается до 194 гр. Ц., азот вываривается и смешивается с водородом в пропорции 1:3; затем нагревается до температуры 1300 гр. Ц. и пропускается над мелко истолченным ураном. В результате получается аммиак. Таким образом, в процессе химического синтеза употребляются огромные изменения температуры и громадные сложные дорогие аппараты.

Когда клеточка - бактерия вырабатывает азот, в ней тоже происходит действительное

горение, в котором растительные остатки служат топливом, а тело бактерий гнилом. Но какая разница в обоих случаях! Живая клетка состоит из 90% воды и весит только две стомиллионных миллиграмма. Она работает в темной, сырой, теплой почве и порождает немного жара, но ни чуточки света. Она производит не просто азотовую кислоту и аммиак, а весьма сложные протейны.

Эта живая клетка является машиной, которая не только производит свою работу, но и починает свои собственные изношенные части. Она работает посредством "энзим." Действие одной встречает размеренное взаимодействие другой, и все служат для выполнения требований живой клетки. Старая протоплазма исторгается, а на ее место выделяется новая. Углеводы и жиры систематически дробятся для того, чтобы аккурратно освободить энергию навстречу потребностям живого организма. Когда же распорядитель церемоний, жизнь, уходит, ка-

ждая "энзима" работает независимо от других. Они рвут и раздирают до тех пор, пока не разрушат самый свой дом. Как будто они составляют друг с другом в том, кто может причинить больше вреда.

"И вот, сегодня, в электроде атома и в зародышевой клетке протоплазмы, мы, наконец, застали врасплох Бога в его мастерской и воскликнули: "Это все — механика!" Спиритуалист же говорит: "Позади нее есть дыхание Бога!" Один обрел вселенную, которая работает, другой вселенную, которая имеет значение. Один обрел инструмент, а другой работника. Но будет ли один механистом, а другой виталистом; материалистом, или спиритуалистом, — оба соглашались, что единственный путь, по которому нужно следовать, это бесконечное открывание законов природы. Это единственная органическая нравственность, только это является прогрессом.

Проф. ДЖ. ГРИВС.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Лидия Нелидова - Фивейская. Подснежники. Стихотворения. Нью Йорк, 1927. Стр. 93. 75 сентов. С портретом автора.

Недавно вышла в свет книга стихов Лидии Нелидовой - Фивейской. Хотя стихи молодой русской поэтессы и появились иногда на страницах русско - американской печати, но невозможно было до сих пор понять ее духовный облик и невозможно было внимательно присмотреться к достоинствам и недостаткам ее творчества.

Сейчас же, когда перед нами имеется целая книга стихов г-жи Фивейской, мы можем заглянуть до некоторой степени не только лишь в ее душевные переживания, но можем заглянуть также и в область ее творчества. Можно было бы, конечно, и не говорить об этих душевных переживаниях, но, ведь, не нужно забывать того, что в области искусства форма всегда бывает связана с содержанием. Нельзя назвать хорошим то стихотворение, в котором мы находим хорошее содержание, но не находим

формы; нельзя назвать хорошим и то стихотворение, в котором мы находим самую совершенную форму, но не находим хорошего содержания.

Прежде всего нужно сказать, что поэтесса не принадлежит к числу "модных" поэтов. В ее стихах нет ни футуризма, ни имажинизма, ни других пролетарских веяний. Поэтому, быть может, чтение ее стихов и доставляет человеку подлинное эстетическое наслаждение. Стихом владеет Фивейская в совершенстве, и многие стихи ее являются своеобразной музыкой.

Нам так надоело за последние годы различное пролетарское творчество, не признающее ни формы, ни логики, ни грамматики, что чтение хороших стихов кажется нам иногда даже какой то роскошью. Хороши, разумеется, с литературной точки зрения, и стихи Фивейской. Есть, впрочем, в ее творчестве и небольшой литературный недостаток: это излишнее употребление различных философских и ультра - современных терминов. В хороших и музыкальных сти-

хах все эти термины звучат каким то диссонансом. Они уместны в прозе, но неуместны в поэзии. Такие, например, слова как: фатальный, эластичный, комфорт, наркозы и другие не следует употреблять в поэзии. Эти слова, ведь, можно заменить другими.

Творчество г-жи Фивейской является чем то особенным. В нем отразился целиком дух нашего страшного времени. Г-жа Фивейская не принадлежит к числу тех поэтов, которые с высот Парнасса созерцают земные юдоли и пишут иногда о неведомых им страданиях человеческих. Она — дочь Земли. Она сама же переносит эти земные страдания, видит страдания других людей, и только им, этим страданиям, внемлет ее отзывчивое сердце. Во всех ее стихах слышатся отзвуки "мировой скорби." Но пессимизм ее является своеобразным пессимизмом. Он не имеет почти ничего общего с пессимизмом Будды, Шопенгауэра, Байрона и Леопарди. В пессимизме этих мыслителей и писателей имеется какое-то активное начало. Их пессимизм является их миропониманием, иначе говоря, является своеобразной философией. Пессимизм же Фивейской является не миропониманием, а мироощущением; он вытекает не из интеллекта, а из ее сердца. Слышатся иногда в ее скорбных стихах и голос многострадальной души.

Она не знает радости и счастья. Она находит в мире одни лишь страдания. Смотрит она на все эти страдания и слезы и сама же плачет. Оплакивает она жизнь других, оплакивает также и свои страдания в этом страшном мире.

"Моя душа стара, как мир...

На ней следы тысячелетий...

На ней печаль седых веков,

Как снежный ледяной покров...

Печаль и боль тысячелетий"...

Она вот и живет страданиями этих тысячелетий. Ничего не приметла она в этих тысячелетиях, кроме страданий, слез и горя. Вот эти то страдания и слезы и являются для поэтессы единственной действительностью мира. Все остальное кажется ей призраками. Она согласна, очевидно, с Ос-

каром Уайльдом, который, находясь в тюрьме, пришел к таким же выводам. Вся его исповедь "De profundis" является гимном страданию.

Страдание и Смерть являются владимицами мира. Подвластны им не только люди, но и все вселенные. Поэтому то, вероятно, и царствует в мире страдание. Знают страдание даже цветы, вся жизнь которых кажется нам иногда каким то неземным блаженством. Блаженство их длится недолго. Приходит жестокая осень и они умирают тихо и печально. Все же их прошлое является каким то мимолетным сном. В ее стихотворение "Осенние цветы" слышатся грустные вздохи цветов.

Таким же "осенним цветком" является в действительности и сам человек. Нет в его жизни ни весны, ни лета. Вся его жизнь — осень. И слышит он в этой жизни одни лишь печальные осенние песни. Хотя человек и считает себя властелином природы, но все это владычество является одной лишь иллюзией. Если бы он был властелином природы, он был бы властелином и своей собственной жизни, был бы Зодчим и своей судьбы. Но этого, ведь, нет. Он до сих пор все еще принимал свою судьбу как дар, но не создавал ее.

В пессимизме Фивейской слышатся не христианские и не буддийские, а исключительно языческие мотивы. В нем есть языческая боязнь этого мира, но не сознательное неприятие его. И не случайно, очевидно, поэтесса говорит, что ее душа — "родная дочь Эллады." И ее сердце — эллинское сердце. Ей более понятен в своей скорби Софокл, нежели Байрон и Леопарди. По язычески она понимает и природу. Природа ее мать, ее и божество. Существования же мира вне-природного она почти совсем не замечает. Она видит мир в двух лишь измерениях: она не замечает глубины его. Хотя она и упоминает в двух или трех местах о Боге и Христе, но это упоминание является чисто случайным. Вот что она пишет о природе:

"Люблю тебя, красавица природа,

Люблю тебя, моя божественная мать!

Лишь для тебя одной восторженная
ода

Из скорбных уст моих готова прозвучать."

По язычески она боится жизни, но по язычески боится она и смерти. Жизнь для нее является какой-то страшной неизбежностью, но смерть является чем-то еще страшнейшим. Если в жизни есть много непостижимого, то смерть является, ведь, величайшей тайной. Вот почему Фивейская и умоляет время продлить ее земные мгновенья, хотя в этих мгновениях она не находит ни радости, ни утешения.

"О, время, подожди, продли свои мгновенья!

Мне страшно уходить в немую пустоту..."

Ее любовь тоже своеобразная. Она, как видно, думает, что только лишь "последнюю любовь" можно назвать любовью истинной. Но ведь последняя любовь является чем-то истинно ужасным и мучительным. Если человек любит кого-нибудь сейчас и знает, что любит он последнюю любовь, то эта любовь является для него подлинной Голгофой. Эта любовь ведет не к счастью человека, а к горькому отчаянию. Одна лишь есть любовь, дающая человеку блаженство и счастье — это любовь вечная, но не любовь последняя. А эта, ведь, любовь не может быть ни первой, ни последней. Она одна лишь — любовь истинная. Любви же временной нет и не может быть.

В конце книги имеется одно стихотворение, в котором очень ярко выражены душевные переживания Фивейской.

МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ

В Москве организован Комитет по увековечению памяти М. Бакунина и А. Карелина. В ближайшем будущем Комитет намерен выпустить сборник памяти А. Карелина. Комитет готовится также к организации особого Музея, в котором будут собираться все материалы, относящиеся к жизни и деятельности этих выдающихся борцов за свободу.

Комитет просит всех товарищей, имеющих какие-либо материалы о жизни и дея-

"Склонись ко мне, грустная Муза, на
грудь,

Послушай, как сердце устало..."

О, дай мне с последнею песней заснуть,
Чтоб биться оно перестало!..

Я пела о счастье, любви, красоте,

Но в жизни я их не встречала.

Я жизни не верила — только мечте

И песнь моя странно звучала.

И нет ничего, чтоб хотелось вернуть,

И я не нашла, что искала..."

Склонись ко мне, грустная Муза, на грудь,

Послушай, как сердце устало..."

В этом стихотворении слышится отзвук скорби Леопарди. Имеется здесь даже сходство с его стихотворением "К самому себе":

"Теперь отдохнешь навсегда,

Усталое сердце мое.

Исчез и последний обман,

Который я вечным считал..."

Есть в книге Фивейской и несколько лирических стихотворений. Есть, разумеется, и в них какие-то печальные мотивы, но в них то именно и проявляется подлинный облик ее творчества. Особенно чудесны два стихотворения: "Деревенская песня" и "Умирающий лебедь" (последнее написано на музыку Сен-Санса).

Можно не соглашаться с мрачными настроениями нашей молодой поэтессы, но с творчеством ее обязан познакомиться наш русский колонист. В творчестве ее есть, ведь, кроме скорби, много красивых и музыкальных вещей.

Е. МОРАВСКИЙ.

тельности Бакунина и Карелина (карточки, письма, книги, брошюры, статьи и стихи) направлять их по следующему адресу:

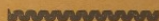
E. Dolinin, 9219 Russell Street, Detroit, Mich.

КОМИТЕТ.

А. А. Солонович готовит к печати книгу о Бакунине под названием "Логос Бакунина." Другой известный анархист готовит к печати биографию А. А. Карелина.

Открыта подписка НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПРОБУЖДЕНИЕ

Орган свободной мысли, издающийся русскими прогрессивными
организациями Северной Америки.



ЖУРНАЛ ПОСВЯЩЕН ВОПРОСАМ: ПОЛИТИКИ, ЭКОНОМИКИ, ОСВОБОДИ-
ТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ, НАУКИ, ФИЛОСОФИИ, ИСКУССТВА, ЛИТЕРАТУ-
РЫ И КРИТИКИ.

К УЧАСТИЮ В ЖУРНАЛЕ ПРИГЛАШЕНЫ
ИЗ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ ЛУЧШИЕ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СИЛЫ

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

НА ГОД — 1 ДОЛЛАР 75 СЕНТОВ. НА ПОЛГОДА 1 ДОЛЛАР

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА 15 СЕНТОВ

ПОДПИСКУ, ВСЕ ЗАКАЗЫ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ПРОСЯТ АДРЕСОВАТЬ:

“PROBUZHDENIE”
9219 Russell Street, Detroit, Michigan